

A close-up, high-contrast portrait of Carl Uve Knausgård. He has long, grey hair and a full, grey beard. His eyes are blue and looking slightly downwards and to the left. The lighting is dramatic, highlighting the texture of his skin and the intensity of his expression.

Вы читаете
его жизнь,
а видите свою.

The New Yorker

КАРЛ
УВЕ
КНАУСГОР
ДЕТСТВО

МОЯ БОРЬБА [3]

Моя борьба

Карл Уве Кнаусгор

**Моя борьба. Книга
третья. Детство**

Издательство «Синдбад»

2009

УДК 821.113.5
ББК 84(4Нор)-44

Кнаусгор К.

Моя борьба. Книга третья. Детство / К. Кнаусгор — Издательство «Синдбад», 2009 — (Моя борьба)

ISBN 978-5-00131-328-1

«Детство» – третья часть автобиографического цикла «Моя борьба» классика современной норвежской литературы Карла Уве Кнаусгора. Писатель обращается к своим самым ранним воспоминаниям, часто фрагментарным, но всегда ярким и эмоционально насыщенным, отражающим остроту впечатлений и переживаний ребенка при столкновении с окружающим миром. С расстояния прожитых лет он наблюдает за тем, как формировалось его внутреннее «я», как он учился осознавать себя личностью. Переезд на остров Трумейя, начальная школа, уличные игры, первая обида, первая утрата... «Детство» – это эмоционально окрашенное размышление о взрослении, представленное в виде почти осязаемых картин, оживающих в памяти автора.

УДК 821.113.5
ББК 84(4Нор)-44

ISBN 978-5-00131-328-1

© Кнаусгор К., 2009
© Издательство «Синдбад», 2009

Содержание

Karl Ove Knausgård	5
Часть IV	6
Конец ознакомительного фрагмента.	63

Карл Уве Кнаусгор

Моя борьба. Книга третья. Детство

Karl Ove Knausgård

Karl Ove Knausgård

MIN KAMP. TREDJE BOK

© Karl Ove Knausgård, 2009

First published with the title MIN KAMP. TREDJE BOK in 2009

All rights reserved

Published in the Russian language by arrangement with *The Wylie Agency*

Russian Edition Copyright © Sindbad Publishers Ltd., 2021

Фото на обложке © Sam Barker

© Издание на русском языке, перевод на русский язык. Издательство «Синдбад», 2021.

Часть IV

Теплым и пасмурным августовским днем 1969 года по узкой дороге вдоль побережья одного из сёрланнских¹ островов, мелькая между садов и холмов, лугов и рощиц, – то взбираясь на пригорок, то ныряя в долину, то петляя по крутым поворотам, то скрываясь среди деревьев, как в зеленом туннеле, то вылетая навстречу морю, – ехал автобус. Он принадлежал Арендальскому пароходству и был, как остальные автобусы пароходства, его цветов – светло- и темно-коричневого. Автобус переехал через мост, свернул к заливу и, мигнув правым поворотником, остановился у обочины. Дверь открылась, и из автобуса высадилось небольшое семейство. Отец, высокий и стройный, в белой рубашке и териленовых брюках, нес два чемодана. Мать в бежевом пальто и голубой косынке поверх длинных волос одной рукой толкала детскую коляску, а другой вела за руку маленького мальчика. Автобус поехал дальше, а его жирный темно-серый выхлопной дым еще висел над асфальтом.

– Дальше придется пешком, – сказал отец.

– Сможешь, Ингве? – спросила мать у мальчика.

Тот кивнул:

– Конечно.

Он был четырех с половиной лет, со светлыми, почти белыми волосами и смуглой после долгого лета кожей. Его брат, всего восьми месяцев от роду, тарачился из коляски на небо, не ведая, где он очутился и куда его теперь везут.

Семейство медленно поднималось в гору. Гравийная дорога после проливного дождя была сплошь в больших и маленьких лужах. По обе стороны тянулись поля. За ними, метрах в пятистах, начинался лес, он спускался к берегу, покрытому каменными валунами; низкорослые деревья пригибались к земле, словно придавленные морским ветром.

Справа показался недавно возведенный дом. Никакой другой застройки рядом не было.

Коляска поскрипывала пружинами. Убаюканный чудесным покачиванием, младенец вскоре закрыл глаза. Отец, с коротко стриженными темными волосами и густой черной бородой, опустил один из чемоданов на землю и отер ладонью вспотевший лоб.

– Жуткая духота, – сказал он.

– Да, – согласилась мать. – Ближе к морю, наверное, будет посвежее.

– Будем надеяться, – сказал отец и снова взялся за чемодан.

* * *

Это по тем временам самое обыкновенное семейство – родители, молодые, как большинство тогдашних родителей, двое детей, как было тогда почти у всех, – переехало из Осло, где прожило пять лет на Тересес-гате, близ стадиона Бислетт, на остров Трумёйю, где для них возводился дом в новом поселке. В ожидании достройки семье предстояло пожить в стареньком съемном коттедже на территории кемпинга Хове. Отец семейства учился в Осло по специальности английский и норвежский язык, подрабатывая ночным сторожем, его жена ходила в фельдшерскую школу при Уллеволском госпитале. Еще не закончив курса, он подал заявление – и был принят учителем в Ролигхеденскую среднюю школу, а она получила работу в санатории «Коккеплассен» для нервнобольных. Они встретились в Кристиансанне, когда обоим было семнадцать, в девятнадцать она забеременела, а в двадцать они поженились, сыграв свадьбу на вестланнском хуторе, где она выросла. Из его родни никто на этой свадьбе не присутствовал,

¹ Сёрланн – традиционное название Южной Норвегии.

и хотя на всех тогдашних фотографиях он улыбается, но словно бы окружен одиночеством и среди сестер и братьев невесты, ее теток и дядьев, кузин и кузенов сразу выделяется как чужой.

Сейчас им по двадцать четыре года, и настоящая жизнь для них только начинается. Впереди у них своя работа, свой дом, свои дети. Их двое, они вместе, и будущее, которое их ждет, принадлежит им.

Разве нет?

Они родились в один и тот же год, в сорок четвертом, и принадлежали к первому послевоенному поколению норвежцев, вступившему в совсем новое общество, во многом построенное по плановой системе. В пятидесятые годы – все в стране было организовано по-новому, создана система школьного образования, система здравоохранения, социального обеспечения, система транспорта, а главное – система производства и управления; и централизованный характер этой новой системы очень скоро отразилась на образе жизни населения.

Ее отец родился в начале двадцатого века в Сёрбёвоге, он был крестьянином с маленького хутора в округе Итре-Согн, где прошло и ее детство, и не имел никакого образования. Дед по отцу происходил с одного из ближних островов, там же, по-видимому, жили его отец и дед. Мать была из йольстерских крестьян, с хутора в десяти милях от Сёрбёвога, она также не имела образования, и ее предки упоминаются в приходских книгах Йольстера начиная с шестнадцатого века.

Глава семейства стоял в социальной иерархии на ступеньку выше, поскольку и его отец, и дядья уже имели гимназическое образование. Но они тоже всю жизнь провели там же, где их родители, то есть в Кристиансанне. Его мать, не имевшая среднего образования, родилась в Осгорстранне, ее отец служил лоцманом; были в ее роду и полицейские. Встретив будущего мужа, она переехала с ним в его родной город. Так тогда было принято.

Перемены, произошедшие в пятидесятые и шестидесятые годы, произвели настоящую революцию, только без революционного насилия и прочих безумств. Дети рыбаков и бедных крестьян, рабочих и приказчиков не только пооканчивали университеты и стали учителями и психологами, историками и соцработниками, но многие из них еще и расселились по стране далеко от тех мест, откуда вели свой род. В их глазах это выглядело совершенно естественным, что, конечно, многое говорит о духе времени. Дух времени приходит извне, но действует изнутри. Перед ним все равны, но у каждого он проявляется по-своему.

Этой молодой матери эпохи шестидесятых сама мысль выйти за парня с соседнего хутора и провести там всю оставшуюся жизнь показалось бы дикой. Ей хотелось вырваться на волю! Хотелось своей собственной жизни! Того же хотели ее братья и сестры, и точно так же обстояло дело в каждой семье по всей стране. Но почему они все этого захотели? Откуда вдруг взялось такое страстное устремление? Да, откуда вообще берется новое? В ее роду подобных прецедентов не бывало; единственным, кто уехал из родных мест, был дядя Магнус, он отправился в Америку, спасаясь от нищеты, но и там долгое время продолжал вести жизнь, почти неотличимую от той, какую вел у себя в Вестланне.

У молодого отца эпохи шестидесятых все обстояло несколько иначе: в его семье получить образование считалось само собой разумеющимся – но не жениться на крестьянской дочке из Вестланна и не поселиться в типовом поселке близ заштатного городка в Сёрланне.

И вот они идут теплым пасмурным августовским днем по дороге, направляясь к своему новому дому: он – волоча два тяжелых чемодана, до отказа набитые одеждой по моде шестидесятых, она – толкая перед собой детскую коляску шестидесятых годов с младенцем, одетым в детские вещи шестидесятых, то есть во все белое и украшенное кружавчиками, – а посередине, между матерью и отцом, вразвалочку весело топает, с любопытством оглядываясь по сторонам, весь в радостном ожидании, их старший сынишка Ингве. Они перешли долину, миновали протянувшийся впереди лесок, подошли к открытым воротам кемпинга и вступили на его территорию. Справа от них находилась авторемонтная мастерская, принад-

лежащая некоему Врольсену, слева – большие деревянные красные бараки, расположенные вокруг широкой незаасфальтированной площадки, за которой начинался сосновый бор.

К востоку от лагеря, в километре от него, стояла каменная Трумёйская церковь – тысяча сто пятидесятого года, но отдельные ее части были и того старше, – по-видимому, одна из древнейших церквей в Норвегии. Она стояла на вершине холма и с незапамятных времен служила ориентиром для проходящих мимо кораблей, отмеченным на всех мореходных картах. На Мэрдё, маленьком островке в шхерах, сохранился шкиперский двор – как память о славных временах восемнадцатого и девятнадцатого веков, когда здесь процветала морская торговля, главным образом лесом. На экскурсиях в Музее Эуст-Агдера школьникам показывали старинные голландские и китайские вещи тех и даже более ранних лет. На Трумёе встречались необычные чужеземные растения, их завезли сюда корабли, что сливали здесь балластную воду; а если вы ходили в школу на Трумёе, то узнавали, что картофель в Норвегии впервые начали разводить именно здесь. Остров неоднократно упоминается в королевских сагах Снорри Стурлусона, в земле местных полей и лугов лежат наконецники копий каменного века, а на пляжах среди прибрежной гальки попадаются древние окаменелости.

Но сейчас, когда вновь прибывшее семейство со всем своим скарбом медленно шло по открытой местности, на всем, что их окружало, лежал отпечаток отнюдь не десятого, тринадцатого, семнадцатого или девятнадцатого века, а Второй мировой. Во время войны здесь стояли немцы. Бараки и многие дома были построены при них. В лесу оставались каменные бункеры, совершенно целые, а на вершинах утесов над морем – артиллерийские батареи. В окрестностях имелся даже старый немецкий аэродром.

Дом, в котором семье предстояло жить в первый год, стоял посреди леса – деревянный, с красными стенами и белыми наличниками. С моря, которого отсюда нельзя было видеть, хотя до него было всего с полкилометра, доносился ровный шум прибоя. Пахло лесом и солью.

Отец поставил на землю чемоданы, достал ключи и отпер дверь. Внутри оказалась прихожая, кухня, гостиная с дровяной печью, ванная комната, служившая также и прачечной, на втором этаже – три спальни. Стены были неутепленные, кухня – самая простая. Ни телефона, ни посудомоечной машины, ни телевизора – ничего этого не было.

– Ну, вот мы и дома, – сказал отец, занося чемоданы в одну из спален; Ингве понесся от окна к окну, чтобы выглянуть из каждого, а мать поставила коляску со спящим младенцем на крыльце.

* * *

Ничего из этого я, конечно же, не помню. Отождествить себя самого с младенцем на сделанной родителями фотографии, просто невозможно, – то есть это до такой степени трудно, что как-то даже язык не поворачивается сказать «я» про маленькое существо, лежащее, допустим, на пеленальном столике, с неожиданно красным, сморщенным личиком и растопыренными ручками и ножками, заходящееся в крике, причин которого никто уже не вспомнит, или, например, на меховом коврикe, в белой пижамке, тоже красное, с большими черными, чуть косящими глазами? Неужели это создание и есть тот, кто все это пишет теперь в Мальмё? И неужели вот это создание то же самое существо, что и тот сорокалетний мужчина, который сейчас, хмурый сентябрьским днем сидя за письменным столом в Мальмё, под звуки уличного шума и завывание ветра в старых вентиляционных трубах пишет эти слова, а еще сорок лет спустя он же будет горбатым трясущимся старикашкой, доживающим век в каком-нибудь доме престарелых посреди шведских лесов? Не говоря уже про мертвое тело, которое когда-нибудь положат на стол в морге? Про него также будут говорить «Карл Уве». Ну, разве это не поразительно, что одно и то же простое имя охватывает их всех – и зародыш во чреве матери, и младенца на пеленальном столике, и сорокалетнего мужчину за компьютером, и старика в

кресле, и труп на столе в морге? Разве не правильнее было бы называть их разными именами, коль скоро их личность и самовосприятие до такой степени различаются? Зародыш, например, назвать Йенсом Уве, младенца – Нилсом Уве, мальчика от пяти до десяти лет – Пером Уве, с десяти до двенадцати – Гейром Уве, подростка тринадцати – семнадцати лет – Куртом Уве, парня семнадцати – двадцати трех лет – Юном Уве, с двадцати трех до тридцати – Туром Уве, тридцати-сорокалетнего мужчину – Карлом Уве и т. д. и т. д.? Тогда первая часть имени уточняла бы принадлежность к определенной возрастной ступени, вторая напоминала бы, что речь идет об одной и той же личности, а фамилия указывала на семейное происхождение.

Нет, о том времени я ничегошеньки не помню, даже не знаю, в каком доме мы жили, хотя папа однажды мне его показал. Все, что мне известно об этом времени, я знаю по рассказам родителей и фотографиям. В ту зиму снегу навалило несколько метров, как это бывает в Сёрланне, и дорога к нашему дому превратилась в узкое ущелье. Вот Ингве катит коляску, в которой я лежу, на ногах у него коротенькие лыжи и он улыбается, глядя на фотографа. Вот он стоит в комнате и показывает на меня пальцем, или я стою один, держась за перильца кровати. Я называл его Эйя, это было мое первое слово. Один только он, как мне потом рассказывали, и понимал, что я говорю, и переводил мои слова маме и папе. Я знаю также, что Ингве звонил в соседние дома и спрашивал, есть ли там дети, – эту историю любила рассказывать бабушка. «А тут есть дети?» – говорила она детским голосом и принималась смеяться. Еще я знаю про то, что как-то упал с лестницы, у меня случилось что-то вроде шока, я перестал дышать, весь посинел, начались судороги, так что мама, схватив меня в охапку, бросилась к соседям, у которых был телефон. Она подумала, что это эпилепсия, но, к счастью, она ошиблась, все обошлось. Еще я знаю, что папе нравилось работать в школе, он был хорошим учителем и как-то ходил со своим классом в горы. У нас остались фотографии той экскурсии, папа на них молодой и веселый, в окружении подростков, одетых в «мягком» стиле, таком характерном для начала семидесятых. Вязаные свитера, широкие штаны, резиновые сапоги. Волосы у всех были длинные, но без начеса, как в шестидесятые годы, а мягко ниспадающие на плечи, обрамляя нежные отроческие лица. Мама как-то сказала, что в то время отец, видимо, был счастливее всего. Есть еще фотографии, на которых сняты я, Ингве и бабушка. Две – где мы с Ингве стоим на берегу замерзшего озера, оба в свободных свитерах, связанных бабушкой, мой – горчичного цвета с коричневым рисунком; и две – сделанные у бабушки с дедушкой на веранде, на одной она прижалась ко мне щека к щеке, на дворе осень, небо синее, солнце стоит низко, мы с ней глядим вдаль на Кристиансанн, – на этом снимке мне года два-три.

Казалось бы, эти фотографии – тоже своего рода воспоминания, только отделенные от того «я», которое обычно выступает их носителем; и тут невольно возникает вопрос, в чем же тогда их смысл. Я повидал несметное число таких семейных фотографий у моих друзей и возлюбленных, относящиеся к тому же времени, и все они схожи до неразличимости. Те же цвета, та же одежда, те же комнаты, те же занятия. Но с этими снимками у меня ничего не связано, они как бы лишены смысла, и еще отчетливее это ощущаешь, разглядывая фотографии предшествующих поколений: перед тобой только собрание людей, странно одетых и занятых, на мой взгляд, непонятно чем. На снимках мы запечатлеваем время, а не живущих в нем: их поймать не удастся. В том числе и людей из моего ближайшего окружения. Что за женщина позирует фотографу у плиты в квартире на Тересес-гате – голубое платье и модная в шестидесятые поза: коленки вместе, ступни врозь? Эта, с начесом? С голубыми глазами и робкой улыбкой – такой робкой, что и не поймешь, улыбается она или нет? Сжимающая ручку блестящего кофейника-термоса с красной крышкой? Да, это мама, моя мама, она самая, но кто она? О чем она тут думает? Какой видит ту жизнь, которой она жила, и ту, которая ждала ее впереди? Это знает только она сама, а фотография ничего об этом не скажет. Незнакомая женщина в незнакомой кухне – и только. А тот мужчина, который десять лет спустя сидит на горе и пьет кофе из той самой красной крышки, поскольку кружки забыл дома, кто он? Муж-

чина с ухоженной черной бородой и густыми темными волосами, с нервными губами и веселым взглядом? Ну да, это мой отец, кто же еще. Но кем он был сам для себя в тот момент и во все остальные моменты, теперь уже никто не знает. И так же обстоит дело со всеми фотографиями, включая и мои собственные. Они совершенно пусты, единственный смысл, который в них читается, – это тот, что вложен в них временем. Однако эти снимки – часть меня самого и моего самого сокровенного, как для других людей – их фотографии. Переизбыток смыслов – бессмысленная пустота, переизбыток смыслов – пустая бессмысленность: набегая и отступая, эти волны несут с собой ту энергию, которая определяет основу нашей жизни. Все, что я помню из первых шести лет своей жизни, все картинки и предметы, я тщательно берегу – они представляют важную часть моей личности, наполняя содержанием зияющие пустоты этого, в основном беспмятного пространства. Из подобных клочков и обрывков я выстроил образы Карла Уве, и Ингве, мамы и папы, образ дома в Хове и дома в Тюбаккене, образы бабушек и дедушек с папиной и маминой стороны, соседей и кучи детей.

Эти шаткие постройки, напоминающие убогие трущобные хижины, составляют то, что я называю моим детством.

Человеческая память – штука ненадежная. И не только по той простой причине, что для памяти соответствие истине – не главная забота. Верно или неверно она воспроизводит события, зависит вовсе не от стремления к правде. Память корыстна. Она прагматична, коварна и лукава, но не по враждебности или злему умыслу; напротив, она стремится угодить своему обладателю. Какие-то вещи она задвигает подальше, чтобы они канули в бездну забвения, что-то переиначивает до неузнаваемости, что-то тактично подает как недоразумение, а что-то, совсем мелкое и ничтожное, удерживает со всей ясностью и отчетливостью. Но что именно ты запомнишь правильно, решать не тебе.

У меня воспоминания о первых шести годах отсутствуют почти полностью. Я не помню почти ничего. Не имею ни малейшего представления о том, кто меня нянчил, что я делал, с кем играл, – все это точно корова языком слизнула. Период моей жизни с 1968 по 1974 год – это сплошь темный провал. Те мелочи, что сохранились у меня в памяти, не представляют особенного интереса. Вот я стою на деревянном мостике среди какого-то, вроде бы горного, редколесья, подо мной бурлит большой ручей, вода в нем зеленая с белым, я прыгаю, подскакивая вверх-вниз, мостик качается, и я хохочу. Рядом со мной – Гейр Престбакму, сын наших соседей, он тоже скачет и тоже хохочет. Я еду в машине на заднем сиденье, мы останавливаемся перед светофором, папа оборачивается и говорит, что это Мьёндален. Мне сказали, что мы ехали на матч «Старта», но ни дорога туда, ни матч, ни обратный путь мне совершенно не запомнились. Я поднимаюсь по дороге к дому, толкая перед собой большой пластмассовый грузовик, он желтый с зеленым и вызывает у меня ощущение богатства, достатка и счастья.

Вот и все. Все первые шесть лет моей жизни.

Но это – канонизированные воспоминания, закрепленные еще в шести-восьмилетнем возрасте, магия детства: самое первое из того, что я помню! Однако, кроме них, есть и воспоминания другого рода. Не отлитые раз и навсегда в определенную форму, их нельзя вызвать по желанию, время от времени они как бы сами всплывают в сознании и качаются там наподобие прозрачной медузы, пробужденные каким-нибудь запахом, вкусовым ощущением, звуком... Они всегда сопровождаются мгновенным и острым чувством счастья. Еще бывают воспоминания, связанные с телодвижениями, когда ты делаешь что-то, что однажды уже делал, например, заслоняешься ладонью от солнца, ловишь летящий в воздухе мяч, бежишь со своими детьми по полю, ведя за собой на бечевке воздушного змея. Есть воспоминания, вызываемые тем или иным чувством: внезапной злостью, внезапными слезами, внезапным испугом, и тут ты вдруг превращаешься в себя прежнего, в мгновение ока переброшенный сквозь года в далекое прошлое. И еще, наконец, есть воспоминания, привязанные к местности. Ведь местность в детстве – это совсем не то, что местность в позднейшие годы, она включает в себе гораздо больший

эмоциональный заряд. В детстве в окружающей местности все – каждый камень, каждое дерево – исполнено значения, потому что ты видишь их впервые; а коль скоро ты видел их много раз, они глубоко отложились в твоём сознании: не смутно и приблизительно, как, закрыв глаза, представляет себе местность вокруг своего дома взрослый, а невероятно точно и подробно. Достаточно мысленно открыть дверь, как тут же на тебя потоком накатывают картины. Гравий на дорожке перед домом, в летнее время почти что синий. Хотя бы это – подъездные дорожки моего детства! И машины семидесятых годов, которые на них стояли! «Мыльницы», «жуки», «таунусы», «гранаты», «асконы», «кадеты», «консулы», «лады», «амазоны»... Ладно, будет! Пройти до конца песчаной дорожки, потом вдоль коричневого забора, а там и овражек между нашей улицей, кольцевой Нордосен-Рингвей, и Эльгстиен, протянувшейся через весь район и еще два поселка, кроме нашего! Внизу напротив уже лес. Надо только сбежать с откоса, покрытого черной, жирной землей. Как же из нее почти сразу потянулись тоненькие, зеленые стебельки: ломкие и такие одинокие на свежевзрытой поверхности, а уже через год разрослись так, что покрыли весь откос. Маленькие деревца, трава, наперстянка, одуванчики, папоротники и кустарник полностью стерли недавно еще такую отчетливую границу между дорогой и лесом. Дальше вверх по тротуару с узким кирпичным бордюром, и – ах! – вода; как она струилась, пленкой затягивая дорогу после дождя. Тропинка направо – кратчайший путь к новому супермаркету – «Б-Макс». Сбоку от нее болотце, по размеру не больше двух парковочных мест, и жадно наклонившиеся к воде березы. Дом Ольсена на бугре, а за бугром – дорога. Гревлингсвейен – Барсучья улица. В первом доме по левую руку жили Юнн и его сестра Труде. Их дом стоял посреди пустыря на каменной осыпи. Мимо него я ходил с опаской. Во-первых, потому что Юнн мог лежать в засаде и бросаться камнями или снежками во всех ребят, которые проходили мимо; во-вторых, у них была немецкая овчарка... Даже вспомнить страшно... Какая же злобная тварь была эта псина! Ее держали на привязи на веранде или на дорожке перед домом, оттуда она облаивала всех, кто проходил мимо. Она носилась взад и вперед, сколько позволяла цепь, и то визжала, то подвывала. Тощая, с желтыми, сумасшедшими глазами. Один раз, когда я проходил по склону, она, вырвавшись у Труде, бросилась ко мне, волоча за собой поводок. Я где-то слышал, что от зверя нельзя убегать, когда он гонится за тобой. Например, от медведя в лесу. Надо, наоборот, замереть на месте, я так и поступил. Едва увидев, что собака бежит на меня, я замер. Но это не помогло. Ей было все равно, что я стою на месте, она разинула пасть и цапнула меня повыше запястья. В следующий миг подросла Труде, схватила поводок и дернула изо всей силы, так что собака отлетела назад. Я в слезах пошел дальше. Все в этой зверюге пугало меня. Ее лай, желтые глаза, слюнявая пасть, острые клыки, отпечаток которых остался на моей руке. Дома я ничего не сказал, опасаясь, что мне же и попадет, для чего имелись основания: мол, будешь знать, как соваться куда не надо, либо – перестань реветь, подумаешь, какая-то собака, что в ней такого страшного? С тех пор меня каждый раз при виде этой собаки охватывал дикий страх. А хуже этого нет ничего: я знал не только что от животных нельзя убегать, но и другое – что собаки чувствуют твой страх. Уже не помню, от кого я это услышал, но так говорили многие, и все это знали: собака чувствует, когда ты ее боишься, и тогда она сама или пугается, или становится агрессивной и переходит в нападение. А если ты не боишься, она ведет себя спокойно.

Сколько же я над этим тогда размышлял! Каким образом собака может *учувать* страх? Чем пахнет страх? И можно ли так притвориться, что ты не боишься, чтобы собака почувала притворное чувство и не заметила того, что прячется за ним, что ты испытываешь *на самом деле*?

У Канестрёма, жившего через два дома от нас выше по склону, тоже была собака. Золотистый ретривер, звали его Алекс, и он был смирный как овечка. Он всюду бегал за господином Канестрёмом, куда бы тот ни шел, и за всеми его четырьмя детьми. Добрые глаза и ласковые, словно бы доброжелательные движения. Но даже этой собаки я боялся. Потому что стоило

только подойти к дому, чтобы позвонить в дверь, Алекс сразу принимался лаять. Не подавал голос осторожным, дружелюбным или вопросительным потягиванием, а заливался громким, басовитым и раскатистым лаем. Я останавливался.

– Привет, Алекс, – обращался я к собаке, если рядом никого не было. – Ты не думай, я тебя не боюсь. Это не страх.

Если кто-нибудь был поблизости, оставалось подойти как ни в чем не бывало, делая вид, что не обращаешь внимания на лай, и, очутившись перед разинутой пастью собаки, наклониться и погладить ее по спине, хотя сердце отчаянно колотилось, а все мускулы делались от страха ватными.

– Замолчи, Алекс! – говорил тогда Даг Лотар, выбегая навстречу по дорожке из подвала или распахнув парадную дверь. – Напугал Карла Уве своим гавканьем, глупый ты пес!

– И ничего не напугал, – говорил я на это.

Даг Лотар только смотрел на меня с натянутой улыбкой, означавшей, что я зря старался. И мы шли гулять.

Куда?

Вниз к Убекилену, к заливу.

К плавучим причалам.

Наверх к мосту.

Вниз к Гамле-Тюбаккену.

К фабрике пластмассовых лодок.

На гору.

К озеру Хьенна.

К «Б-Максу».

Вниз, к заправке «Фина».

А то просто бегали по своей улице, или болтались где-нибудь возле дома, или садились на край тротуара, или лазили на ничейную черешню.

Вот и все. Вот и весь наш мир.

Но ведь целый мир!

Поселки-новостройки не имеют корней в прошлом, нет у них и ветвей, протянутых к небесам грядущего, какие были когда-то у городов-спутников. Они появились в качестве прагматического ответа на практический запрос: где жить тем, кто сюда приедет, ну да, в этот лес, – так что нарежем участки и выставим на продажу. Единственный дом, который там уже стоял, принадлежал семейству по фамилии Бек. Глава семьи приехал из Дании и своими руками построил дом посреди леса. У них не было ни автомобиля, ни стиральной машины, ни телевизора. Не было ни сада, ни огорода, только пустой двор с утоптанной землей, окруженный деревьями. Поленница дров под брезентом да зимой перевернутая вверх дном лодка. Обе дочери, Инга Лиль и Лиза, учились в школе и были нам с Ингве няньками в первые годы после нашего переезда. Их брата звали Юнн, он был на два года старше меня, ходил в странной домодельной одежде, совершенно не интересовался тем, что интересовало нас, и занимался такими вещами, в которых мы ничего не смыслили. В двенадцать лет он сам построил себе лодку. Не в пример нашим плотам, которые мы пытались мастерить, мечтая отправиться на них в большое плавание; это была настоящая прочная весельная лодка. Таких, как он, ребята обычно дразнят, но Юнна не трогали – дистанция не позволяла. Он не был одним из нас и совершенно к этому не стремился. Его отец, датчанин с велосипедом, еще у себя в Дании, наверное, начавший мечтать о том, чтобы поселиться в лесу, видимо, очень огорчился, когда утвердили план нового строительства и рядом с его домом заработала строительная техника. Семьи съезжались со всех концов страны, и все они были с детьми. По другую сторону дороги жили Густа-всены: он – пожарный, она – домохозяйка, они прибыли из Хоннингсвога, их детей звали Ролф и Лейф Туре. В доме напротив нас жили Престбакму, он – учитель средней школы, его жена –

медсестра, оба из Тромса, детей звали Гру и Гейр. Над ними жили Канестрёмы; он работал на почте, она была домохозяйкой, приехали из Кристиансанна, их детей звали Стейнар, Ингрид Анна, Даг Лотар и Унни. С другой стороны жил Карлсен, моряк, его жена работала продавщицей в магазине, детей звали Кент Арне и Анна Лена. Над ними – Кристенсены, он – моряк, кем была она, я не знаю, детей звали Марианна и Эва. С другой стороны жили Якобсены, он работал в типографии, она – домохозяйка, оба были из Бергена, детей звали Гейр, Трунн и Венке. Над ними Линнланны, из Сёрланны, детей звали Гейр Хокон и Мортен. Дальше я уже не очень знал, кто где живет, а тем более как зовут родителей и кем они работают. А из детей там были Бенте, Туне Элисабет, Туне, Лив Берит, Стейнар, Коре, Руне, Ян Атле, Оддлэйг, Халвор. Большинство – мои сверстники, старший – на семь лет старше меня, младший – на четыре года моложе. Пятеро из них потом учились со мной в одном классе.

* * *

Мы переехали туда летом 1970 года. Большинство домов еще только строилось. Пронзительный звук сирены, предупреждающий о взрыве, сопровождал все мое детство, а жуткое ощущение надвигающейся гибели, когда под землей пробегает взрывная волна и пол под ногами ходит ходуном, было привычным. Наземные коммуникации казались чем-то естественным – дороги, линии электропередачи, лес и море; а подземные – вызывали тревожное чувство. Разве то, по чему мы ходим, не должно быть неколебимо прочным и непроницаемым? В то же время все отверстия в земле обладали для меня и других ребят, с которыми мы рядом росли, какой-то странной притягательностью. Мы постоянно собирались гурьбой вокруг вырытых по соседству ям, будь то траншеи для канализационной системы или электрических кабелей или котлован под бетонный фундамент и подвальное помещение: мы стояли над ними и таранились во все глаза на их нутро – желтое там, где песок, черное, бурое или рыжее, где земля, или серое, где глина, – а на дне неизменно стояла изжелта-серая мутная вода, из которой иногда торчали макушки одного-двух валунов. Над ямой высился ярко-желтый или оранжевый экскаватор, немного похожий на длинношею птицу с торчащим, словно клюв, ковшом, а рядом стоял грузовик: фары как глаза, радиатор как пасть, а закрытый брезентом кузов – как спина. Там, где строилось что-то помасштабнее, можно было увидеть бульдозеры и тяжелые самосвалы, обычно желтые, на громадных колесах с протекторными канавками глубиной в ладонь. Иногда в ямах или возле них удавалось найти мотки бикфордова шнура, мы их подбирали, так как бикфордов шнур был ценной вещью, которую ты мог использовать сам или употребить для обмена. Еще там всегда торчали деревянные катушки из-под кабелей высотой в человеческий рост, и штабели гладких красновато-коричневых пластиковых труб диаметром с наше предплечье. Дальше – штабели бетонных труб и колодезных колец – шершавых, чуть выше нашего роста, по которым так здорово было лазить; длинные, неподъемно тяжелые полотнища из разрезанных старых автомобильных шин для взрывных работ; штабели деревянных телефонных столбов, зеленых от пропитки; ящики динамита; бытовки, в которых передевались и обедали рабочие. Когда они там сидели, мы держались на почтительном расстоянии и подглядывали, что они делают. А как только они уходили, мы лазили в ямы, забирались на колеса самосвалов, балансировали на сложенных в штабели трубах, проверяли, не открыты ли двери бытовок, и заглядывали в окошки, залезали в бетонные кольца, пробовали сдвинуть с места кабельные катушки, набивали карманы обрезками проводов, пластиковыми рукоятками, бикфордовым шнуром. Никто в мире не пользовался у нас бóльшим уважением, чем эти рабочие, ничей труд не казался таким важным. Меня не интересовала его техническая сторона, как не интересовали марки строительной техники. Больше всего, кроме производимых ими изменений ландшафта, меня волновали те следы частной жизни, которые они оставляли после себя. Такие моменты, как, например, когда кто-то из них доставал из мешковатого оранжевого или синего

комбинезона гребешок и, зажав под мышкой каску, причесывался под гул и грохот машин, или тот таинственный миг, когда они после рабочего дня выходили из бытовок в обыкновенной одежде, садились в свои машины и уезжали со стройки, как самые обычные люди.

С таким же неослабным интересом наблюдали мы и за другими рабочими. Если где-то поблизости вдруг появлялись рабочие из телефонной компании «Телеверкет», эта новость распространялась среди мальчишек со скоростью степного пожара. Приехала машина, приехал рабочий – монтер, привез эти СКАЗОЧНЫЕ «кошки»! Прикрепив их к ногам и надев страховочный пояс, который пристегивался к столбу специальным ремнем, он медленными и расчетливыми, но для нас СОВЕРШЕННО непостижимыми движениями начинал взбираться наверх. Как это вообще ВОЗМОЖНО? С прямой спиной, без видимых усилий, он плавно полз вверх по столбу. Мы изумленно глазели на то, как он там работает, никто не думал уходить, потому что скоро он начнет спускаться, с такой же необъяснимой легкостью и словно без всяких усилий. Вот бы и нам такие стальные когти с закругленными концами, которыми цепляешься за столб, – уж куда бы мы только не залезли!

А были еще рабочие, занимавшиеся канализацией. Они подъезжали к какому-нибудь колодцу в земле, расположенному прямо посреди асфальта или врытому в небольшой бугорок неподалеку, надев сапоги, доходящие им ДО ПОЯСА, поднимали ломиком круглую, тяжеленную крышку и, отодвинув ее в сторону, спускались в люк. Сначала в отверстии скрывались их ступни, затем целиком ноги, затем живот, грудь и, наконец, голова... А что могло быть там внизу, как не туннель? Неужели там, под землей, течет вода? И по нему можно ходить? Фантастика! Сейчас он уже, может, дошел до того места, где Кент Арне бросил на тротуаре свой велосипед, – но *под землей!* Или эти колодцы нужны были лишь для проверки труб или забора воды в случае пожара? Этого никто не знал, а нам только говорили, чтобы мы держались подальше, когда там находятся рабочие. Спросить у них никто не решался. Поднять железные люки, похожие на чугунные монеты, никому из нас было не под силу. Поэтому все это так и осталось тайной, как и многое другое, с чем мы сталкивались в том возрасте.

Еще дошкольниками мы могли ходить куда угодно, за исключением двух мест. Во-первых, шоссе, которое шло от моста в сторону заправки «Фина». Во-вторых, моря. Никогда не ходите одни на море, внушали нам взрослые. Интересно, почему? Может быть, они думают, что без них мы свалимся в воду? Нет, не поэтому, сказал однажды один из нас, когда мы сидели на склоне возле лужайки, где иногда играли в футбол, и уставился на воду метрах в трех под обрывом, на котором мы сидели. Из-за водяного. Он утаскивает детей.

– Кто тебе сказал?

– Мама и папа.

– Прямо *тут?*

– Да.

Мы посмотрели на сероватую поверхность залива Убекилен. Казалось вполне возможным, что под нею кто-то прячется.

– Только тут? – спросил кто-то. – Тогда пошли в другое место. Может, в Хьенну?

– Или где «Малые Гавайи»?

– Там свои водяные. Они опасные. Это правда. Так сказали мама и папа. Они хватают детей и топят.

– А сюда он может залезть?

– Не знаю. Думаю, не может. Нет. Тут ему высоко. Опасно только у самой воды.

С тех пор я стал бояться водяного, но не так сильно, как лисиц. При одной мысли о них я коченел от страха, и стоило мне увидеть, как качнулись ветки в кустах, и услышать, как там что-то зашуршало, я сразу удирал в безопасное место, то есть куда-нибудь на открытую поляну или на холм, где начинался поселок, – туда лисы забегать боялись. Страх мой был настолько велик, что стоило Ингве со своей верхней кровати сказать: «Я лиса. Вот сейчас как схвачу

тебя!» – как я уже весь холодел от страха. «Нет, ты не лиса», – говорил я тогда. «А вот и да», – отвечал он, наклонился ко мне через край и делал вид, что ловит меня рукой. Он хоть и любил меня поугаать, я все-таки страшно расстроился, когда у каждого из нас появилась отдельная комната и мне пришлось спать одному. Казалось бы, все хорошо, она ведь *тоже находится в доме*, эта моя новая комната, но все-таки не так хорошо, как раньше, когда брат спал рядом, прямо надо мной. Тогда я мог, например, просто спросить: «Ингве, тебе не страшно?» – и он отвечал: «Не-а, с какой стати? Чего тут бояться-то?» – и я понимал, что он прав, и сразу успокаивался.

Страх перед лисами прошел, кажется, годам к семи. Но его место тотчас заняли другие страхи. Как-то днем я проходил мимо включенного телевизора, хотя никто его не смотрел. Шел утренний фильм, и вдруг – о, ужас! – по лестнице поднимается человек без головы! О-о-о! Я бросился в свою комнату, но это не помогло, я же был тут один и беззащитен, так что надо было поскорее найти маму, если только она дома, или Ингве. Образ человека без головы преследовал меня, причем не только в темноте, как другие мои страхи. Нет, человек без головы мог напасть на меня среди бела дня, и если я оказывался в это время один, то не спасало ни солнце, ни то, что поют птицы; сердце отчаянно колотилось, и страх пронизывал меня насквозь до самых мелких нервных окончаний. Днем было даже хуже, оттого что и на ярком свету могла затаиться тьма. Чего я боялся больше всего, так это тьмы при свете дня. И главное, с этим ничего нельзя было поделать. Бесплезно звать маму, бесплезно искать прибежища на открытом месте, бесплезно убегать. А тут еще обложка случайно сохранившегося у папы старого журнала «Детективмагасинет», который он мне как-то сам показал, на ней был нарисован скелет с человеком через плечо. Обернувшись назад, скелет смотрел пустыми глазницами прямо на меня. Этого скелета я тоже начал бояться, и он тоже возникал передо мной по всякому возможному и невозможному поводу. Боялся я также горячей воды в ванной. Когда я ее включал, труба издавала пронзительный звук, а сразу после него, если вовремя не закрыть кран, – начинала греметь. Эти звуки, такие жуткие и громкие, сводили меня с ума. Был один способ этого избежать – сначала открыть холодную воду, а потом постепенно добавлять горячую. Мама, папа и Ингве так и делали. Я пытался повторить это за ними, но пронзительный звук, проникший сквозь все стены, вслед за которым начинался все убыстряющийся грохот, словно в подвале кто-то злился, возникали сразу, как только я включал горячую воду, так что я поскорей заворачивал кран и убегал прочь, охваченный непреодолимым паническим страхом. Поэтому я умывался по утрам либо холодной водой, либо теплой, но грязной, оставшейся после Ингве.

Собаки, лисы и водопроводные трубы представляли конкретную, физическую угрозу, и это хоть как-то удерживало мой страх в известных границах: они либо есть, либо их нет. Но человек без головы и скалящийся скелет принадлежали миру смерти, и их нельзя было так же удержать в границах, они могли оказаться где угодно: в шкафу, если открыть его в темноте, на лестнице, когда ты по ней поднимаешься, в лесу, и даже у тебя под кроватью или, например, в ванной комнате. С этими созданиями из мира мертвых я связывал и свое отражение в оконном стекле. Может, потому, что оно появлялось, только когда на улице становилось темно, но это была ужасная мысль – подумать при виде собственного отражения на черном стекле, что там не я, а уставившийся на меня мертвец.

* * *

К началу школы в водяных, домовых и троллей никто из нас уже не верил, а тех, кто еще верил, мы высмеивали; но вера в привидения и живых мертвецов никуда не делась, возможно, потому, что от нее так просто не отмахнешься, – ведь что ни говори, а покойники существуют, и тут ничего не попишешь. Другие бытовавшие у нас представления из той же многогранной области мифологии были светлее и безобиднее, как, например, то, что радуга своим

концом упирается в зарытый клад. Вплоть до первого класса эта вера была у нас так сильна, что однажды мы отправились на его поиски. Как-то в субботу – кажется, в сентябре – с утра на полдня зарядил дождь. Мы играли на дороге у подножия дома, где жил Гейр Хокон, а вернее сказать, в канаве, которая наполнилась водой чуть ли не до краев. Как раз тут над дорогой высилась взорванная скала, и с ее покрытой травой, землей и мхом вершины сочилась и капала вода. Мы гуляли в резиновых сапогах, непромокаемых штанах и куртках ярких цветов, с завязанными под подбородком капюшонами, которые искажали все звуки: собственное дыхание и каждый поворот головы отдавались в ушах громким и отчетливым шуршанием, в то время как все остальные звуки слышались приглушенно и как бы издалека. По ту сторону дороги над деревьями и на вершине нависшей над нами скалы стоял густой туман. Оранжевые крыши по обе стороны спускающейся вниз дороги бледно просвечивали сквозь серую мглу. Над лесом у подножия горы небо висло пухлым мешком, из которого сеялся моросящий дождь, отчего под опущенным капюшоном в ушах стоял утомительный для напряженного слуха шорох.

Мы строили запруду, но песок, который мы сгребали лопатками, все время размывало, и тут, увидав въезжавшую в гору машину Якобсенов, мы тотчас побросали лопатки и помчались к их дому – и добежали одновременно с машиной. В воздухе повисло синеватое облачко выхлопного дыма. С одной стороны вышел худой как жердь Якобсен-отец с недокуренной сигаретой в зубах. Он нагнулся, поднял расположенный под сиденьем рычажок и наклонил спинку, чтобы выпустить из машины сыновей – Гейра Старшего и Трунна. Одновременно с отцом их мама, маленькая и кругленькая, рыжеволосая и белокожая, выпустила со своей стороны дочку Венке.

– Здорово, – сказали мы.

– Здорово, – сказали Гейр и Трунн.

– Куда вы ездили?

– В город.

– Привет, ребята, – сказал отец.

– Здравствуйте, – сказали мы.

– А знаете, как будет по-немецки «семьсот семьдесят семь»? Зибенхундерт зибен унд зибцих, – сказал он сирым голосом. – Ха-ха-ха!

Мы тоже засмеялись. Его смех перешел в кашель.

– Вот так-то, – сказал он, прокашлявшись, вставил ключ в дверцу машины и повернул. Губы и один глаз у него все время подергивались.

– А вы куда теперь? – спросил Трунн.

– Не знаю, – сказал я.

– Можно я с вами?

– Давай, если хочешь.

Трунн был наш с Гейром одногодок, но ростом гораздо меньше. У него были круглые, как пуговицы, глаза, нижняя губа толстая и красная, носик маленький. Это кукольное личико венчали светлые волнистые волосы. Брат был на него совсем не похож: глаза узкие, хитроватые, улыбка часто насмешливая, волосы гладкие, темно-русые, веснушчатая переносица. Но роста и он был маленького.

– Надень дождевик, – велела мать.

– Я сейчас, только дождевик надену, – сказал Трунн и убежал в дом.

Мы молча стояли, свесив руки, как два пингвина, и ждали, когда он выйдет. Дождь перестал. Под порывами легкого ветра в садах ниже по склону закачались макушки высоких тонких сосен. С горы, стекая в канаву, бежал ручей, унося с собой кучками лежавшие на земле сосновые иголки, похожие на желтые буквы V или на мелкие рыбы кости.

Тучи у нас за спиной разошлись, образовав просвет. Местность вокруг, со всеми ее крышами, полянами, группами деревьев, холмами и обрывистыми склонами, озарилась внезапным

сиянием. Над пустошью выше нашего дома, которую мы просто называли горой, раскинулась радуга.

– Смотрите, – сказал я. – Радуга!

– Ого! – сказал Гейр.

Наверху Трунн закрыл за собой дверь. Побежал к нам.

– На горе стоит радуга! – сказал Гейр.

– Пошли искать клад? – предложил я.

– Пошли! – сказал Трунн.

Мы побежали вниз. Во дворе Карлсенов стояла Анна Лена, младшая сестренка Кента Арне, и смотрела, как мы бежим. Ее помочи были застегнуты на протянутой веревке, чтобы не вздумала убежать. Красный автомобиль ее матери стоял перед домом. А на стене светился зажженный фонарь. Добежав до дома Густавсенов, Трунн сбавил скорость.

– Лейф Туре тоже захочет пойти с нами, – сказал он.

– По-моему, его нет дома, – сказал я.

– Спросим на всякий случай, – сказал Трунн и, пройдя между двумя каменными столбами без ворот, над которыми часто потешался мой папа, ступил на подъездную дорожку. Сверху на каждом из столбов красовался полый металлический шар, пронзенный стрелой, это устройство покоилось на плечах голого сгорбленного мужчины. Это были солнечные часы, над ними мой папа тоже смеялся: двое-то их зачем?

– Лейф Туре! – позвал Трунн. – Гулять пойдешь?

Он посмотрел на нас. И мы все втроем дружно крикнули:

– Лейф Туре! Гулять пойдешь?

Прошло несколько секунд. Затем отворилось кухонное окно, и в нем показалась его мама:

– Сейчас выйдет. Вот только комбинезон наденет. Так что хватит кричать.

У меня было совершенно отчетливое представление о том, как выглядит этот клад. Большой черный трехногий котел, полный сверкающих сокровищ: золота, серебра, алмазов, рубинов, сапфиров. Он закопан у подножия радуги; у каждого конца по котлу. Один раз как-то мы уже ходили на поиски, но безуспешно. Сейчас надо было спешить, радуга держится недолго.

Лейф Туре, только что маячивший смутной тенью за желтым дверным стеклом, наконец появился в дверях. Вместе с ним на улицу выплеснулась волна теплого воздуха. У них всегда было жарко натоплено. Я ощутил слабый запах чего-то кислого и сладкого. Так пахло у них в доме. В каждом доме, кроме нашего, был свой особенный запах, у них он был кисло-сладкий.

– А что мы будем делать? – спросил он, захлопнув за собой дверь.

– На горе стоит радуга, мы пойдем искать клад, – сказал Трунн.

– Тогда побежали! – обрадовался Лейф Туре и ринулся вперед. Мы – бегом за ним вниз на дорогу, которая вела на гору. Я заметил, что велосипеда Ингве возле дома все еще нет. Но зеленый «жук» мамы и красный папин «кадет» стояли во дворе. Когда я уходил, мама пылесосила в доме, хуже для меня ничего не могло быть, я терпеть не мог эти звуки, они надвигались стеной и давили на меня. Кроме того, во время уборки родители открывали окна, дом наполнялся ледяным воздухом, и этот холод, казалось, передавался маме, так что, когда она склонялась над ведром, чтобы отжать тряпку, орудовала шваброй или пылесосила, в ней уже ничего не оставалось от той мамы, какой она была обычно; а поскольку мне некуда было приткнуться в этом царстве холода, то по субботам я промерзал насквозь, до самых мозгов, промерзал так, что не мог даже читать комиксы лежа на кровати, хотя вообще-то очень любил это занятие, поэтому оставалось только одно: одеться и бежать на улицу в надежде, что там происходит что-нибудь интересное.

У нас в семье уборкой занимались и мама, и папа, что было довольно необычно. Насколько я знал, другие папы дома не убираются, за исключением разве что Престбакму, и то вряд ли, во всяком случае, я его за этим занятием ни разу не видел.

Но сегодня папа съездил в город, купил на рыбном рынке крабов, потом курил в кабинете, то ли проверял сочинения, то ли читал методические пособия, а может быть, занимался своей коллекцией марок или читал «Фантом». За нашим крашенным черной морилкой забором, там, где начиналась дорога к «Б-Максу», переполнился канализационный колодец и затопил подлесок. Ролф, брат Лейфа Туре, сказал на днях, что это ответственность моего папы. Слово «ответственность» было в его устах непривычным, и я догадался, что он повторяет то, что сказал его отец. Папа был членом нашего муниципального правления, они там решали, что надо делать у нас на острове, именно это имел в виду Густавсен, отец Лейфа Туре и Ролфа. Папа должен был заявить об аварии, чтобы прислали ремонтную бригаду. Поднимаясь с ребятами в гору и глядя на огромную лужу, стоявшую среди низкорослых, тоненьких деревьев, в которой кое-где плавали белые клочки туалетной бумаги, я решил сказать это ему при первой возможности. Чтобы он заявил об этом в понедельник на собрании.

Тут он как раз и появился. Вывернул из-за угла дома в синей непромокаемой куртке с откинутым капюшоном, в синих джинсах, которые надевал для работы в саду, и зеленых резиновых сапогах до колена. Он шел немного изогнувшись, потому что держал в обеих руках лестницу, в следующую секунду он упер ее в землю и прислонил к крыше.

Я повернулся и припустил догонять ребят.

– Радуга еще там, – крикнул я на бегу.

– Сами видим! – ответил Лейф Туре.

Я нагнал их в начале тропинки и вслед за желтой курткой Трунна вошел в заросли деревьев, с которых дождем сыпались капли, стоило кому-нибудь отвести на ходу ветку. Мы проходили в это время под коричневым домом Молденов, у которых детей не было, кроме уже почти взрослого сына в больших очках, который ходил во всем коричневом и носил брюки клеш. Мы не знали, как его зовут, и называли просто Молденом, как родителей.

Самая удобная дорога на вершину горы пролегла мимо их сада, вдоль него мы и шли сейчас, медленно ступая, потому что склон был крутой, а высокая желтая трава, которой он зарос, – скользкая. Иногда я хватался за какое-нибудь деревце, помогая себе руками. Выше начиналась голая скала, образующая навес, так что подняться наверх было невозможно, тем более в такую сырую погоду, но по краю скалы шла трещина между основным утесом и его выступающей частью, туда можно было встать и с легкостью преодолеть последние метры до вершины.

– Ой, куда она подевалась? – воскликнул Трунн, первым вылезший на вершину.

– Была вон там, – сказал Гейр, показывая в сторону мокрого плато.

– Надо же! – сказал Лейф Туре. – Вон где она, внизу.

Все повернулись и посмотрели вниз. Радуга стояла над лесом далеко внизу. Один конец упирался в деревья под домом Бека, другой стоял где-то на травянистом склоне, ведущем к заливу.

– Так что же нам, спускаться, что ли? – спросил Трунн.

– Но клад-то небось никуда не делся? – сказал Лейф Туре. – Надо хоть поискать.

То есть, как это звучит на местном наречии: «Пошукать, что ли, тута».

– Да нет его здесь, – сказал я. – Он же всегда бывает, где радуга!

– Интересно, кто это, по-твоему, успел его перепрятать, – сказал Лейф Туре.

– Кто-кто! – возмутился я. – Дурак ты, что ли? Никто его нигде не прятал. Это все радуга!

– Сам ты дурак, – сказал Лейф Туре. – Не может он сам собой исчезнуть.

– Еще как может, – сказал я.

– Нет, – возразил Лейф Туре.

– Не нет, а да, – сказал я. – Поищи, если хочешь. Сам увидишь.

– Я тоже пойду искать, – сказал Трунн.

– И я, – сказал Гейр.

– А я не буду, – сказал я.

Они повернулись, и, поглядывая по сторонам, пошли туда, где раньше стояла радуга. Я понял, что тоже пошел бы за ними, но теперь уже не мог. Оставшись на месте, я стал смотреть вдаль. Отсюда открывался самый широкий вид. Виден был мост, он словно вырастал из расстилавшегося внизу леса, и пролив, по которому всегда шли корабли, видны были толстые белые газгольдеры на том берегу. Виден был остров Йерстадхолмен, новая дорога и низкий бетонный мост, по которому она проходила, виден был весь залив Убекилен. Виден был и поселок. Множество красных и оранжевых крыш среди деревьев. Дорога. Наш сад, сад Густа-сенов; остальное было не видно.

Небо над поселком уже почти целиком стало голубое. Облака – белые. Они ушли в сторону города. А с другой стороны, за Убекиленом, все еще стояли густые, серые тучи.

Внизу я увидел папу. Маленькая-премаленькая фигурка, не больше муравья, на лестнице, прислоненной к крыше.

Интересно – а он меня видит?

Налетел порыв ветра.

Я обернулся и посмотрел на ребят. Два желтых и одно светло-зеленое пятнышко двигались то туда, то сюда среди деревьев. Вершина посреди плато была темно-серая, примерно такого же цвета, как дальние тучи, кое-где из трещин торчали пучки зеленой и желтой травы. Большой упавший сучок не лежал на земле, а точно стоял на тонких боковых веточках. В этом было что-то странное.

С лесом, который там начинался, я по-настоящему не был знаком и доходил только до поваленного сухого дерева, метрах в тридцати от опушки. Дальше открывался склон, сплошь поросший вереском. Окруженный с обеих сторон высокими, тонкими сосенками и густыми стенами ельника, он был похож на большой зал.

Гейр говорил, что в тот раз видел там лисицу. Я не поверил ему, но с лисицами шутки плохи, поэтому мы на всякий случай забрались со своими бутербродами и бутылками сока на скальный уступ, с которого внизу открывался вид на знакомый нам мир.

– Вот он, тут! – крикнул Лейф Туре. – Черт! Вон он – клад!

– Черт! – закричал Гейр.

– Не врите, все равно меня не обманете! – закричал я в ответ.

– Ого! – крикнул Лейф Туре. – Вот мы и богачи!

– Черт возьми! – крикнул Трунн.

Затем тишина.

Неужели они и правда его нашли?

Да ну! Просто дурачат меня.

Но конец радуги стоял точно на этом самом месте.

Вдруг Лейф Туре говорит правду, и котел не исчез вместе с радугой?

Я сделал несколько шагов в ту сторону, пытаюсь получше разглядеть, что там делается за кустами можжевельника.

– Ой! Да ты посмотри только! – сказал Лейф Туре.

Тут я решил и кинулся к ним со всех ног, пробежал мимо стволов, сквозь кусты, остановился.

Они обернулись ко мне:

– Обманули дурачка! Ха-ха-ха! Обманули дурачка!

– Подумаешь, обманули! Я это сразу понял, – сказал я. – Просто решил вас догнать. Надо поспешить, пока не исчезла радуга.

– Тоже мне, умный! – сказал Лейф Туре. – Признавайся лучше, мы тебя обманули, а ты и поверил.

– Пошли, Гейр, – сказал я. – Спустимся вниз и поищем клад.

Он смущенно взглянул на Лейфа Туре и Трунна. Но он был мой лучший друг и пошел со мной. За нами потрусили Трунн и Лейф Туре.

– Мне надо пописать, – сказал Лейф Туре. – Давайте вместе – кто дальше? С уступа? Оттуда получится длинная струя.

Писать на улице, когда снизу это может увидеть папа?

Лейф Туре уже спустил непромокаемые штаны и расстегивал молнию. Гейр и Трунн встали рядом по обе стороны и крутили попами, снимая штаны.

– Я не хочу писать, – сказал я. – Я только что пописал.

– И ничего ты не писал, – сказал Гейр, поворачиваясь лицом ко мне и обеими руками держась за пиписку. – Мы же все время были вместе.

– Я пописал, пока вы ходили искать клад.

В следующий момент вокруг них поднялся пар от мочи. Я подошел поближе, чтобы посмотреть, у кого получится дальше. Как ни странно, победителем оказался Трунн.

– Ролф завернул кожу на пиписке, – сказал Лейф Туре, застегивая молнию. – От этого дальше бьет.

– Радуга пропала, – сказал Гейр и, тряхнув напоследок пипиской, убрал ее в штаны.

Все посмотрели вниз.

– Что теперь будем делать? – сказал Туре.

– Не знаю, – сказал Лейф Туре.

– Пошли к лодочному сараю? – предложил я.

– А там чего делать? – спросил Лейф Туре.

– Ну, залезем на крышу, – сказал я.

– Давайте! – обрадовался Лейф Туре.

Мы двинулись наискосок вниз по склону, продираясь сквозь густой ельник, и через пять минут очутились на гравийной дороге, которая шла вдоль залива. На травяном склоне напротив мы зимой катались на лыжах. Летом и осенью мы туда ходили редко – что там, внизу, было делать? Залив был мелкий и илистый, купанье в нем – неважное, мостки – ветхие, а островок на другой стороне был весь загажен обосновавшейся на нем колонией чаек. Если нас туда заносило, то как бы нечаянно и непонятно для чего, так же, как в этот день. Наверху, между травяным склоном и опушкой леса, стоял старый белый дом, в нем жила старая, белая как лунь дама. Мы ничего про нее не знали. Ни как ее зовут, ни чем она занимается. Иногда мы заглядывали в окошко, прижав нос к стеклу и закрываясь с боков ладонями. Не из каких-то особенных соображений, а просто так, потому что можно посмотреть. В окна видна была гостиная со старой мебелью или кухня, где тоже стояло все старое. Рядом с домом, по другую сторону узкой гравийной дорожки, стоял красный полуразвалившийся амбар с провалившейся крышей. А в самом низу, возле вытекавшего из леса ручья, – старый, некрашенный лодочный сарай, крытый толем. По берегам ручья росли высокие папоротники и еще какие-то растения с громадными, по сравнению с тоненькими стебельками, листьями. Если раздвинуть их руками движением пловца, как мы делаем, пробираясь сквозь податливые кусты и ветки, перед глазами окажется голая земля, словно растения обманывают нас, только изображая пышность, тогда как на самом деле под густыми листьями ничего и нет, кроме земли. Ниже, поближе к воде, земля или глина и что там под ними находилось было рыжеватым, цвета ржавчины. Иногда там что-нибудь застревало – какой-нибудь обрывок пластикового пакета или тряпка, – но не в такие дни, как сегодня, когда вода била из проходившей под дорогой трубы мощным потоком и переставала бурлить только перед заливом, где она растекалась наподобие маленькой дельты.

Лодочный сарай посерел от времени. Кое-где в просветы между досок можно было просунуть руку, поэтому мы знали, что там есть, ни разу не побывав внутри. Поглядев какое-то время в трещины, мы переключились на крышу, на которую собирались взобраться. Для этого нужно было что-то подставить к стене. Рядом ничего подходящего не нашлось, поэтому мы

подкрались к амбару, посмотреть, нет ли чего-нибудь там. Убедившись сначала, что рядом с домом нет автомобиля, – иногда на нем приезжал мужчина, может быть сын дамы, он нас гонял, если мы бегали на лыжах через их двор, а она – никогда. Поэтому мы сперва посмотрели, нет ли его поблизости.

Машины на дворе не было.

У стены дома стояли несколько белых канистр. Я узнал их, поскольку видел такие же во дворе у бабушки с дедушкой; это была муравьиная кислота. Ржавая бочка. Снятая с петель дверь.

А рядом – вот оно! Деревянная палета!

Мы подняли ее. Она почти выросла в землю. Когда мы ее оттуда вытаскивали, из-под нее выползли на свет разбегающиеся во все стороны мокрицы и какие-то паучки. Мы подтащили палету к лодочному сараю. Поставили у самой стенки. Лейф Туре, самый храбрый из нас, полез первым. Забравшись на палету, он смог положить локоть на крышу. Крепко ухватившись другой рукой за край крыши, он *размахнулся* ногой. Ему удалось закинуть ее на крышу, на какую-то секунду, но следом он потерял равновесие, не удержался за край и рухнул как мешок с картошкой, не успев выставить руки. Он ударился боком о палету и скатился с нее на землю.

– Ой! – вскрикнул он. – Ой, сука! Ой! О-о-о!

Он медленно поднялся, посмотрел на свои ладони и потер задницу.

– Ох и больно! Теперь вы попробуйте!

Он посмотрел на меня.

– У меня руки не такие сильные, – сказал я.

– Я могу попробовать, – сказал Гейр.

Если Лейф Туре славился храбростью, то Гейр считался сорвиголовой. Сам он ни во что не лез и с удовольствием сидел бы дома и рисовал; удаль в нем просыпалась, только когда его подначишь. А это было нетрудно, Лейф Туре был доверчив. В то лето мы с ним соорудили мини-кар в виде ящика на колесах – немного помог его отец, – и я заставил Гейра толкать меня на нем, убедив, что это очень развивает силу. Он был простоват, но при этом отчаянный удалец, иногда его удалество зашкаливало, и тогда он оказывался способен на что угодно.

Гейр избрал другой способ, чем Лейф Туре. Встав на палету, он обеими руками ухватился за край крыши и попытался подтянуться, перебирая по стене ногами; он шагал по стене, в то время как руки удерживали весь его вес. Это была полная глупость. Если бы ему удалось сделать так, как он задумал, он бы в конце концов повис горизонтально между палетой и стеной, то есть оказался бы в совершенно безнадежной позиции. Тут его пальцы соскользнули, и он бухнулся задницей на палету, а затем еще ударился об нее затылком.

У него вырвался стон. Когда он поднялся, я увидел, что он сильно расшибся. Он сделал несколько шагов взад-вперед и снова застонал. *Мгхм!* И снова полез наверх. На этот раз он воспользовался методом Лейфа Туре. Когда ему удалось закинуть ногу через край, его тело несколько раз дернулось, как от электрического тока, нога стукнула по толевой кровле, тело изогнулось, и вдруг – раз – он уже стоит там на коленях и смотрит сверху на нас.

– Плевое дело, – сказал он. – Давайте сюда! Я вас подтяну.

– Не сможешь, – сказал Трунн. – Силенок не хватит.

– Ну, хоть попробуем, – сказал Гейр.

– Давай лучше слезай, – сказал Лейф Туре. – Мне все равно уже пора домой.

– И мне, – сказал я.

Гейр даже не обиделся и не стал упрячиться.

– Ладно, сейчас спрыгну, – сказал он.

– Высоко же! – сказал Лейф Туре.

– Вот еще! – сказал Гейр. – Погоди только, я сейчас соберусь.

Он долго сидел там на корточках, глядя вниз, и делал сильные вдохи и выдохи, как будто готовился нырнуть в воду. На мгновение тело его совершенно расслабилось, словно он передумал, потом снова напряглось – и он прыгнул. Упал, несколько раз перевернулся кубарем, вскочил, как пружина, и, еще не успев встать на ноги, принялся ладонью отряхивать штаны, словно показывая, что ему все нипочем.

Если бы я вот так, один из всех, забрался на крышу, для меня это стало бы настоящим триумфом. И тут уж Лейф Туре ни за что бы не уступил. Сплоховав сначала, он бы хоть весь вечер продолжал карабкаться и падать, чтобы уравниваться со мной после своей неудачи. Другое дело – Гейр. Вообще-то он был способен на совершенно выдающиеся подвиги, мог, например, пролететь пять метров по воздуху и приземлиться в сугробе, на что никто, кроме него, не отваживался, но что бы он ни делал, ему это не засчитывалось, дескать, что вы хотите от Гейра, – это же Гейр.

Не споря, мы двинулись вверх по склону. Кое-где вода унесла с собой часть дорожного покрытия, местами в нем образовались длинные промоины. В одном месте, где земля совсем размокла, мы немного постояли и потоптались в грязи, мокрый гравий облеплял сапоги, это было здорово. Руки у меня замерзли. Когда я сжимал одной другую, на покрасневшей коже от пальцев оставались белые следы. Но бородавки – три на одном большом пальце, две на другом, одна на указательном и три на тыльной стороне ладони – цвета не поменяли и остались такого же тусклого коричневатого-красного цвета, как всегда; их покрывали малюсенькие чешуйки, которые можно было сколупывать ногтем. Затем мы перешли на другую сторону луга, который кончался каменной оградой; дальше начинался лес, как бы обрамленный отвесным крутым кряжем десятиметровой высоты, поросшим ельником, с торчащими из земли скалами. Здесь или в похожих местах я любил воображать себе, что это такое море, что низины – это его гладь, а горы и скалы – острова.

Вот бы покататься на лодке по лесу! Понырять среди деревьев! То-то было бы здорово!

Иногда в хорошую погоду мы выезжали на взморье по ту сторону острова. Оставив машину на старом стрельбище, мы шли на выглаженные волнами «бараньи лбы», где у нас было постоянное место, – неподалеку от спорнесского пляжа, куда я, разумеется, отправился бы с большим удовольствием, потому что там был песок и можно было шлепать по мелководью до подходящей глубины. А тут глубина начиналась сразу. Была там, правда, маленькая бухточка, вернее, щель в скале, наполненная водой. Спустившись в нее, можно было купаться, но она была маленькая, а дно неровное, покрытое морскими желудями, водорослями и ракушками. С моря на скалы накатывали волны, и вода в бухточке поднималась, иногда по самую шею, и спасательный жилет на мне задирался до ушей. Отвесные стены усиливали бульканье и плеск, от этого гулкого звука становилось настолько жутко, что дыхание останавливалось, так что приходилось хватать воздух глубокими, дрожащими глотками. Так же жутко было, когда волна откатывала и вода с хлюпающим звуком утекала из бухты. Когда на море был штиль, папа надувал желто-зеленый матрас, и я мог лежать на нем, покачиваясь возле берега: голый живот и грудь липли к мокрому пластику, спину жгло и сушило палящее солнце, и я плавал на матрасе, тихонько подгребая ладонями. Вода, в которой плескалась моя рука, была такая свежая и соленая. Я разглядывал водоросли, медленно покачивавшиеся туда-сюда между больших валунов, к которым они лепились, высматривал рыб и крабов или следил за проплывающими вдалеке кораблями. Ближе к вечеру прибывал датский паром, мы смотрели, как он показывался на горизонте, а когда собирались домой, он уже высился белой громадой у нас в проливе, среди низких островов и шхер. Что это – «Венера»? Или «Кристиан IV»? Ребята с южного и западного берега нашего острова, а также, вероятно, и те, что жили по ту сторону Галтесунна, на далеком от нас острове Хисейя, любили купаться при его подходе, потому что он поднимал за собой высокую кильватерную волну. Однажды, когда я вот так качался на матрасе, меня приподняла внезапная волна и сбросила в воду. Я камнем пошел ко дну. Глубина

там была метра три. В панике я стал барахтаться, закричал, наглотался воды, отчего напугался еще больше, но все это длилось, наверное, не более двадцати секунд, потому что папа увидел, что случилось. Он бросился в воду и вытащил меня на сушу. Меня вытошнило водой, я озяб, и мы уехали домой. Моей жизни ничто не угрожало, и это происшествие не оставило во мне заметного следа, кроме ощущения, которое охватило меня, когда, вернувшись домой, я отправился на гору рассказать о случившемся Гейру: мир – это то, по чему я хожу ногами, он прочен и непроницаем, сквозь него невозможно провалиться, как бы он ни вздымался крутыми горами и не опускался глубокими впадинами долин. Я и раньше это знал, но никогда еще не чувствовал так отчетливо, что мы ходим по его поверхности.

Несмотря на это происшествие и неприятные ощущения, которые иногда возникали в узкой бухточке, я очень любил ездить на море. Сидеть на полотенце рядом с Ингве и глядеть вдаль, туда, где голубая морская гладь сливается с горизонтом, по которому медленно, как часовая стрелка, движутся большие корабли, или на Торунгенские маяки – две ярко-белые башни на фоне лазурного неба: что может быть на свете лучше? Пить лимонад, привезенный в бело-красной клетчатой холодильной сумке, есть печенье, иногда наблюдая за папой, как он выходит на край скалы, загорелый и мускулистый, чтобы в следующую секунду головой вниз прыгнуть с двухметровой высоты в море. Смотреть, как он, вынырнув в облаке поднятых им пузырей и разлетающихся фонтаном брызг, откидывает назад волосы, видеть редкое в его глазах выражение радости, когда он, вздымаясь и опускаясь на волнах, возвращается к берегу неторопливыми мощными гребками. Или сходить к великанским котлам – глубоким впадинам в скале; один из них, глубиной в человеческий рост, с отчетливым спиральным рисунком на каменных стенах, до краев был наполнен соленой морской водой, под которой на дне большими пучками тянулись вверх водоросли, другой был помельче, но такой же красивый. Или подняться наверх, к мелким, соленым-пресоленым лужам, заполнявшим каждую впадину в скалах. Вода попадала туда только во время шторма, их поверхность так и кишела мелкими, снующими туда и сюда насекомыми, а дно устилала пожелтелые, чахлые водоросли.

* * *

В один из таких дней папа решил научить меня плавать. Он позвал меня с собой и повел к воде. Там под полуметровым слоем воды торчал большой гладкий камень, покрытый водорослями, мне было сказано встать на него. Папа же отплыл к подводной каменной гряде метров на пять дальше. Он повернулся ко мне.

– Плыви сюда, ко мне, – сказал он.

– Но там же глубоко! – сказал я.

Так оно и было, я едва мог разглядеть дно в промежутке между обоими камнями, глубина там была метра три.

– Я же здесь, Карл Уве. Неужели ты думаешь, я тебя не спасу, если ты начнешь тонуть? Давай, плыви! Это совсем не страшно. Я же знаю – ты можешь. Прыгай в воду, гребь руками, и ты поплывешь. Попробуй! Ты можешь плавать.

Я присел, погрузившись в воду.

Снизу виднелось зеленоватое дно. Неужели я могу переплыть к папе?

Сердце в груди заколотилось так, как бывает только от страха.

– Не могу! – крикнул я.

– Как это – не могу! Можешь! – крикнул в ответ папа. – Тут ничего трудного! Просто оттолкнись и плыви. Несколько взмахов – и ты здесь!

– Я не могу! – сказал я.

Он посмотрел на меня. Затем со вздохом поплыл ко мне сам.

– Ладно, – сказал он. – Я поплыву рядом. Могу даже поддерживать тебя снизу. Тогда ты уж точно не утонешь.

Но я не мог. Как он не понимает?

Я заплакал.

– Не могу, – сказал я.

Морская пучина была у меня в голове и в груди. И в ногах, и в руках, вплоть до кончиков пальцев. Разве можно о ней забыть?

Тут папа перестал улыбаться. С сердитым лицом он вышел на берег, подошел к нашим вещам и вернулся со спасательным жилетом.

– Ладно, надень его, – сказал он, бросая мне жилет. – В нем ты не утонешь, даже если захочешь.

Я надел жилет, уже зная, что это ничего не изменит.

Он снова поплыл к своему камню. Обернулся ко мне.

– Ну, давай! – сказал он. – Плыви ко мне!

Я присел на корточки. Вода покрыла мои плавки. Я вытянул под водой руки.

– Вот так, – сказал папа. – Давай!

Оставалось только оттолкнуться, сделать несколько гребков, и я переплыву к папе.

Но я не мог. Ни за что на свете я не смогу переплыть через такую глубину.

Из глаз покатались слезы.

– Ну, давай же, парень! – звал меня отец. – До вечера тебя ждать, что ли?

– Я НЕ МОГУ! – только и крикнул я в ответ. – СЛЫШИШЬ? НЕ МОГУ.

У него вдруг сделалось каменное лицо, в глазах была злость.

– Ты что же, издеваешься? – сказал он.

– Нет, – всхлипнул я. Руки у меня затряслись.

Он подплыл ко мне и больно схватил за локоть.

– А ну, поплыли! – велел он.

И потянул меня за собой. Я рвался от него к берегу.

– Не буду, – сказал я.

Он отпустил локоть и шумно вздохнул.

– Ну ладно, – сказал он. – Все с тобой понятно.

Он вышел из воды и побрел к нашим вещам, взял обеими руками полотенце и крепко вытер лицо. Я снял спасательный жилет, поплелся за ним. Но остановился в нескольких метрах. Он поднял одну руку и вытер под мышкой, затем другую. Нагнулся и вытер бедра. Бросил полотенце, взял рубашку и стал застегивать, устремив взгляд на тихую морскую гладь. Застегнув рубашку, он натянул носки и обулся. В коричневые кожаные ботинки без шнурков, не идущие к носкам и плавкам.

– А ты чего ждешь? – спросил он.

Я натянул голубую майку с надписью «Лас-Пальмас», которую мне привезли бабушка с дедушкой, завязал кроссовки. Папа запихал две бутылки из-под лимонада и апельсиновую кожуру в сумку-холодильник, перекинул ее через плечо и пошел прочь, зажав в другой руке скомканное полотенце. Всю дорогу до автомобиля он не произнес ни слова. Открыл багажник, поставил в него сумку-холодильник, взял у меня из рук спасательный жилет и положил туда же рядом со своим полотенцем, забыв, кажется, про мое, но я не решился ему напомнить.

Хотя он поставил машину в тени, сейчас она оказалась на самом солнце. Черное сиденье накалилось и обожгло меня, когда я сел. Я подумал, не подложить ли на него влажное полотенце. Но это заметит папа. Вместо полотенца я подложил под себя ладони и сел на самый краешек сиденья.

Папа запустил мотор и тихим ходом поехал по грунтовой площадке так называемого стрельбища, покрытого гравием, среди которого попадалось множество крупных камней.

Дорога, на которую мы оттуда выехали, была вся в больших ухабах, поэтому мы и по ней продолжали ехать медленно. Зеленые ветки и кусты то и дело задевали капот и крышу, иногда низко свисающие ветки встречных деревьев с глухим стуком ударяли о стекло. Ладоням по-прежнему было горячо, но уже не так, как сначала. Только тут я подумал, что и папа тоже сидит в шортах на раскаленном сиденье. Я бросил взгляд на его лицо в зеркале. Оно было сердитое и замкнутое, но по нему нельзя было сказать, что он сидит как на жаровне.

Выехав за церковью на шоссе, он резко прибавил газу и все пять километров до дома гнал машину, сильно превышая скорость.

– Он боится воды, – сказал папа маме на другой день.

Это было не так, но мне хватило ума промолчать.

Неделю спустя приехали в гости мамины родители. Это был их первый приезд к нам в Тюбаккен. В Сёрбёвоге, у себя во дворе, они выглядели нормально, под стать своему окружению, – дедушка в своем синем комбинезоне и черной шапке с узким козырьком, в высоких коричневых резиновых сапогах, то и дело сплевывающий табачную жвачку; бабушка в застиранных, но чистеньких цветастых платьях, седая, коренастая, с вечно чуть трясущимися руками. Но когда папа привез их из Хьевика сюда и они вышли из машины на двор перед нашим домом, я сразу увидел, что здесь они как чужие. Дедушка приехал в сером выходном костюме, в голубой рубашке и серой шляпе, в руке у него была трубка, он держал ее не за чубук, как папа, а за чашечку. Чубуком он пользовался как указкой, это я видел потом, когда ему показывали сад. На бабушке было серое пальто, светло-серые туфли, в руках – сумочка. Никто здесь так не одевался. Да и в городе тоже. Они словно явились из другого времени.

Они наполнили наш дом своей чужестыю. Даже мама с папой стали вести себя как-то иначе, папа стал вообще таким, как в Рождество. Его вечное «нет» сменилось на «почему бы нет». Бдительный взгляд, которым он обычно за нами следил, сделался добрым, а иногда даже его ладонь дружески ложилась мне или Ингве на плечо. Но, хотя он увлеченно разговаривал с дедушкой, я видел, что на самом деле ему не интересно, его взгляд то и дело отвлекался на что-то другое, а временами выражение глаз делалось совсем мертвым. Дедушка, бодрый и веселый, но казавшийся тут меньше и беззащитнее, чем у себя в доме, этой папиной особенностью как бы не замечал. А может, и правда не замечал.

Как-то вечером, когда они гостили у нас, папа купил крабов. В его представлении крабы были самым праздничным угощением, и, хотя сезон еще только начался, крабы ему попались крупные и сочные. Но бабушка и дедушка крабов не признавали. Дедушка, если в сеть попадали крабы, просто выкидывал их за борт. Папа потом долго об этом вспоминал, ему казалось очень смешным предрассудком, будто крабы – менее чистая еда, чем рыба, потому что они бегают по дну, а не плавают в воде, и якобы питаются трупами, раз они едят то, что оседает на дно. Но велика ли вероятность, что именно эти крабы в этот самый вечер наткнулись на утопленника, лежащего в глубинах Скагеррака?

Однажды после обеда, когда мы попили в саду кофе и соку, я ушел к себе наверх и, лежа на кровати, читал комиксы. Вдруг слышу – бабушка и дедушка поднимаются наверх по лестнице. Они шли молча, тяжело ступая, и направились в гостиную. Стену в моей комнате позолотили солнечные лучи. Газон за окном сильно пожелтел, местами желтый цвет переходил в бурый, хотя папа включал разбрызгиватель сразу, как только наступал разрешенный час. Все, что я мог разглядеть вдоль дороги, – сады с садовой мебелью и игрушками, машины и садовые инструменты, прислоненные к стенам и оставленные на крыльце, – словно бы спали. Покрывало неприятно липло к влажной от пота груди. Я встал, открыл дверь и вошел в гостиную, где сидели в креслах бабушка и дедушка.

– Не хотите посмотреть телевизор? – предложил я.

– Давай, – сказал дедушка, – сейчас вроде как раз будут новости? Интересно бы посмотреть.

Я подошел к телевизору и включил его. Надо было подождать пару секунд, чтобы показалась картинка. И вот экран засветился. Буква «Н» перед новостями выросла на экране и стала увеличиваться, слышались простенькие ксилофонные звуки музыкальной заставки: динь-дон-динь-дон, сперва тихонько, затем все громче и громче. Я отступил на шаг. Дедушка в кресле наклонился вперед, выставив перед собой чубук своей трубки.

– Ну, вот, – сказал я.

Вообще-то мне не разрешали самому включать ни телевизор, ни большой радиоприемник, стоявший на полке у стены. Если я хотел что-нибудь посмотреть или послушать, то должен был просить папу или маму, чтобы они включили. Но сейчас-то я включил телевизор для бабушки и дедушки, вряд ли папа стал бы против этого возражать.

И вдруг экран резко вспыхнул. Все цвета смешались. Затем что-то сверкнуло, раздался громкий хлопок, и экран почернел.

Ой, что же это!

Ой, только не это! Только не это!

– Что это с телевизором? – спросила бабушка.

– Он сломался, – ответил я со слезами на глазах.

И сломал его я.

– Ну, что ж, – сказал дедушка, – бывает. Вообще-то мы больше любим слушать новости по радио.

Он встал с кресла и старческой походкой просеменил к приемнику. Я ушел к себе в комнату. Холодея от страха и чувствуя подступающую тошноту, я лег на кровать. Ощутил разгоряченной кожей прохладу покрывала. Я взял из кипы комиксов на полу следующий выпуск. Но мне не читалось. Скоро он войдет в гостиную, подойдет к телевизору и включит. Если бы я сломал его, находясь один, то мог бы сделать вид, будто я ни при чем, что телевизор сам сломался. Но, скорее всего, он бы все равно понял, что виноват я, на такие вещи у него был безошибочный нюх, ему достаточно было только взглянуть на меня, чтобы догадаться, что тут что-то нечисто, и тотчас же понять, что к чему. А сейчас и вовсе невозможно было притвориться, что я ни при чем, раз это случилось при бабушке и дедушке, они расскажут ему, как это произошло, и, если я попытаюсь скрыть правду, это только ухудшит мое положение.

Я поднялся с подушки и сел. Желудок точно сдавило, но это не было похоже на то мягкое и горячее ощущение, которым заявляла о себе болезнь, тут было что-то холодное и жесткое и давило так больно, что никакие слезы не растопили бы эту тяжесть.

Какое-то время я сидел и плакал на кровати.

Был бы Ингве дома! Тогда я мог бы какое-то время отсиживаться у него в комнате. Но он ушел купаться со Стейнаром и Коре.

Ощущение, что у него в комнате, несмотря на то что там никого нет, я как бы приближусь к нему, заставило меня подняться с кровати. Я отворил дверь, осторожно прошел через коридор и шагнул в его комнату. Его кровать была покрашена в синий цвет, моя была оранжевая, как и шкаф – у него он был синий, у меня – оранжевый. Там пахло Ингве. Я подошел к кровати и сел на нее.

Окно было приоткрыто!

Я и не надеялся на такую удачу. Так я мог слышать с террасы их голоса, между тем как они не догадываются, что я здесь. Если бы окно было закрыто, я не мог бы открыть его, не выдав себя.

Папин голос равномерно гудел то громче, то тише, как это бывало, когда он находился в хорошем расположении духа. Иногда раздавался высокий мамин голос, он звучал мягче. В гостиной бормотало радио. Почему-то мне представилось, что бабушка и дедушка заснули и спят в креслах с раскрытым ртом и закрытыми глазами. Наверное, потому, что так они иногда спали при нас в Сёрбёвоге.

Снизу донесся звон посуды.

Что это – они уже убирают со стола?

Да, так оно и было, потому что скоро послышался стук маминых каблучков, она шла вокруг дома к парадному крыльцу.

Тогда я успею поговорить с ней наедине! Расскажу ей, чтобы она узнала первой!

Я дождался, когда внизу отворилась дверь. И когда мама поднялась по лестнице, неся в руках поднос с чашками, блюдами и блестящим кофейным термосом с красной крышкой на подставке из бельевых прищепок, которую смастерил Ингве на уроках труда, я встретил ее в коридоре.

– Такая хорошая погода, а ты в доме? – удивилась она.

– Да.

Она сделала шаг, чтобы пройти дальше, но вдруг остановилась.

– Что-то случилось? – спросила она.

Я опустил глаза.

– Что-то плохое?

– Телевизор сломался, – сказал я.

– Вот беда, – сказала она. – Такая неприятность. А бабушка и дедушка там, в гостиной?

Я кивнул.

– Пожалуй, я их позову на террасу. Вечер просто чудесный. Приходи и ты, хорошо? Там еще есть сок, можешь попить.

Я помотал головой и пошел снова к себе в комнату. Остановился в дверях. Может, правда лучше пойти к ним на террасу? При всех он не будет начинать, даже если узнает, что я сломал телевизор.

Хотя, впрочем, мог и наоборот, еще больше разозлиться. В прошлый раз, когда мы были в Сёрбёвоге, Хьяртан при всех рассказал за обедом, что Ингве подрался с соседским мальчиком, Бьёрном Атле. Все посмеялись, и папа тоже. Но когда мама ушла со мной в магазин, а кто остался в доме, прилегли отдохнуть, и Ингве устроился читать в кровати, к нему пришел папа, поднял за шиворот с кровати и так ему поддал, что он отлетел к другой стене, за то, что подрался.

Нет, уж лучше побыть тут. Когда бабушка или мама скажут, что телевизор сломался, его злость, может быть, пройдет, пока он сидит с ними.

Я снова лег на кровать. В груди пробежала дрожь, слезы снова хлынули из глаз.

О-о-о! О-о-о! О-о-о!

Сейчас он придет.

Я это знал.

Скоро он придет.

Я лежал, закрыв ладонями уши и зажмурил глаза, стараясь думать, что ничего не происходит. Только темнота и собственное шумное дыхание.

Но тут же, почувствовав свою беспомощность, я вскочил на колени и стал смотреть в окно, где все было залито светом, крыши домов блестели под солнцем, а окна сверкали в его лучах.

Внизу открылась и захлопнулась дверь.

В паническом страхе я оглянулся назад. Встал, подвинул к письменному столу стул и сел.

Шаги по лестнице. Поступь тяжелая. Это он.

Я не усидел спиной к двери и снова встал, пересел на кровать.

Он распахнул дверь. Вошел в комнату, остановился у порога и посмотрел на меня.

Глаза его сузились, губы были сжаты.

– Ты что тут делаешь, малый? – спросил он.

– Ничего, – сказал я, опустив голову.

– Смотри на меня, когда говоришь со мной! – сказал он.

Я поднял глаза, посмотрел на него, но не выдержал и снова опустил голову.

– Ты что, оглох? – спросил он. – Смотри на меня!

Я посмотрел на него. Но заглянуть в глаза не посмел.

В три шага он вдруг подошел ко мне, схватил за ухо и стал крутить, одновременно поднимая меня с кровати.

– Разве я разрешал тебе включать телевизор? – сказал он.

Я только всхлипнул и ничего не ответил.

– ЧТО Я ТЕБЕ СКАЗАЛ? – повторил он, еще сильнее закручивая ухо.

– Что м... м... м... мне не... нельзя его включать, – сказал я.

Он отпустил ухо, схватил меня за плечи и потряс.

Его пальцы так и впились в мои плечи.

– СЕЙЧАС ЖЕ ПОСМОТРИ НА МЕНЯ! – закричал он.

Я поднял голову. Слезы так заволокли мне глаза, что я его почти не видел.

Его пальцы еще сильнее впились в мои плечи.

– Ведь говорил я тебе, чтобы ты не подходил к телевизору? Говорил же? Говорил я тебе или нет? Теперь нам придется покупать новый, а откуда взять на это деньги? Ты можешь это сказать?

– Не-е-е-т! – сквозь всхлипы ответил я.

Он отшвырнул меня на кровать.

– Будешь сидеть в своей комнате, пока я не разрешу выходить. Понял?

– Да, – сказал я.

– На сегодня ты оставлен без прогулки. И на завтра тоже.

– Да.

С этим он ушел. Я так плакал, что не расслышал, куда он направился. Я дышал толчками, будто каждый вздох преодолевал крутую ступеньку. Грудь ходила ходуном, руки тряслись. Я лежал и плакал, наверное, минут двадцать. Затем понемногу утих. Тогда я встал на коленки в кровати и посмотрел в окно. Ноги все еще дрожали, и руки дрожали, но я почувствовал, что дрожь постепенно проходит, словно наступило затишье после шторма.

* * *

Из окна мне виден был дом соседа Престбакму и передняя половина его сада, который граничил с нашим, дом Густавсенов и передняя половина их сада, немножко – дом Карлсенов и немножко – дом Кристенсенов на вершине горы. Дорогу я видел до того места, где стояли почтовые ящики. Солнце, как будто раздавшееся к вечеру в ширину, стояло на небе над покрытым лесом холмом. Воздух словно бы замер, кусты и деревья стояли не шелхнувшись. Здесь жители никогда не устраивались посидеть в саду перед домом, никто не хотел «выставляться», как сидение у всех на виду называлось у папы, поэтому у всех соседей садовая мебель и грили стояли за домом.

И вдруг что-то произошло. Из дома Карлсенов вышел Кент Арне. Я видел только его голову поверх стоящего во дворе автомобиля. Сверкая белыми волосами, он проплыл мимо, как марионетка в кукольном театре. Исчезнув из вида на несколько секунд, он вновь появился уже на велосипеде. Он ехал стоя на педалях и притормаживал, нажимая на заднюю, выехал на дорогу и набрал порядочную скорость, прежде чем остановиться перед домом Густавсенов. Два года назад у него умер отец-моряк, я его плохо помнил; собственно говоря, у меня в памяти осталась только одна картина, как мы шли с ним однажды, спускаясь с горы, в морозный и солнечный, хотя и бесснежный день, я нес в руке маленькие оранжевые конечки с тремя полосьями и ремешками, которыми их можно было прикреплять к ботинкам, – значит, мы

шли тогда на озеро Хьенна. А еще помню, как я услышал, что он умер. Мы стояли возле бордюра на перекрестке напротив нашего дома: и Лейф Туре тогда сказал, что у Кента Арне умер папа. Услышав эти слова, мы посмотрели на дом, где они жили. Он хотел вытащить кого-то из цистерны, которую чистили рабочие, а там оказалось полно газа, он потерял сознание и сам упал замертво. При Кенте Арне мы никогда не заговаривали о его отце или о смерти. У них в доме недавно поселился новый мужчина, тоже, как ни странно, по фамилии Карлсен.

Если Даг Лотар был среди нас первым, то Кент Арне считался вторым, хотя и был на год младше нас и на целых два младше Дага Лотара. Лейф Туре считался у нас третьим, Гейр Хокон четвертым, Трунн пятым, Гейр шестым, а я – седьмым.

– Лейф Туре! – крикнул Кент Арне, стоя перед домом. – Ты выйдешь на улицу?

Тот скоро вышел в одних синих джинсовых шортах и кроссовках, сел на велосипед Ролфа, они поехали вниз по склону и скоро скрылись из вида. Кошка Престбакму осталась лежать на плоском выступе скалы между участками Густавсенов и Хансенов.

Я снова лег на кровать. Почитал комиксы, встал и прислушался под дверь, что делается в доме, но из комнат не доносилось ни звука, они все еще сидели в саду. Раз у нас гостят бабушка и дедушка, то не может быть, чтобы меня оставили без ужина. Или может?

Через полчаса они поднялись по лестнице. Кто-то зашел в ванную у меня за стеной. Не папа. Это я понял по звуку шагов: у него они были тяжелее. Но мама это, или бабушка, или, может быть, дедушка, я не смог различить, так как после шума воды в унитазе тотчас же загремели водопроводные трубы, а такое могло получиться только у бабушки или дедушки.

Тут я почувствовал, что по-настоящему проголодался.

Тени, протянувшиеся на дворе, стали такие длинные и приняли такие замысловатые формы, что потеряли всякое сходство с предметами, которые их отбрасывали. Они повзрастали словно бы сами по себе, как будто существовала какая-то параллельная реальность мрака, наполненная темными призрачными оградами, призрачными деревьями, призрачными домами и темными призраками людей, которых нечаянно занесло на берег светлого мира, где они казались такими же неуклюжими и беспомощными, лишенными родной стихии, как шхеры с водорослями, крабами и ракушками, когда от них откатывает волна. Ах, не потому ли тени становятся все длинней и длинней по мере приближения ночи? Может, они тянутся к ночному мраку, за той волной тьмы, которая набегаёт, как прибой, затопляя землю, и тогда на несколько часов исполняются заветные желания теней?

Я взглянул на часы. Было десять минут десятого. Через двадцать минут надо ложиться. В послеобеденное время худшим в запрете покидать комнату было смотреть, как все гуляют на улице, а тебе нельзя выйти. А вечером худшим становилось исчезновение границ между фазами, на которые обыкновенно делился вечер. Что, посидев какое-то время одетым, я просто раздевался и ложился в постель. Разница между обоими состояниями, обыкновенно очень заметная, при запрете покидать комнату совершенно стиралась, и из-за этого я осознавал себя иначе, чем обычно. Словно то «я», кем я был, когда ужинал, чистил зубы, умывался, надевал пижаму, не только отчетливо проявилось, но и заполняло меня целиком, поскольку другого ничего не было. Что я один и тот же, когда сижу на кровати одетый и когда лежу в ней раздевшись. Что на самом деле нет никакого перехода и никакой разницы.

Это было мучительное ощущение.

Я подошел к двери и снова приложил ухо. Сперва там было тихо, потом слышались голоса, потом опять все стихло. Немного поплакав, я снял с себя майку и шорты и лег в кровать, натянув одеяло до подбородка. Стену напротив все еще озаряло солнце. Я почитал комиксы, затем сложил их на пол и закрыл глаза. Последней мыслью перед тем, как заснуть, было, что я не виноват в том, что случилось.

* * *

Я проснулся, взглянул на наручные часы. Две светящиеся стрелки показывали десять минут третьего. Некоторое время я полежал без движения, стараясь понять, что меня разбудило. Стояла тишина, только биение пульса шорохом отдавалось в ухе. Не было ни машин на дороге, ни катеров в проливе, ни самолета в небе. Ни шагов, ни голосов, ничего. Тихо было и в доме.

Я приподнял голову, чтобы уши не касались подушки, и затаил дыхание. Через несколько секунд из сада послышался звук, такой высокий и тонкий, что я сначала его не уловил, но как только заметил, он показался мне ужасным.

– *Иииии-ииии-ииии-ииии. Ииии-ииии-ииии. Иииии!*

Я встал на колени в кровати, отдернул занавеску и выглянул в сад. Газон был залит слабым светом, над домом стояла полная луна. По траве пробежал порыв ветра, и она пришла в движение. Белый пластиковый пакет, одним концом зацепившийся за живую изгородь, трепыхался на ветру, и я подумал, что, если не знать про ветер, может показаться, будто пакет шевелится сам по себе. Я чувствовал дрожь в кончиках пальцев рук и ног, словно стоял на большой высоте. Сердце в груди отчаянно колотилось. Мышцы живота напряглись, я проглотил комок, еще раз сглотнул. Ночь – время привидений и мертвецов, ночь – время человека без головы и скалящегося скелета. А меня от нее отделяла лишь тоненькая стена.

И снова тот же звук!

– *Иии-ииии-иии-иииииии-ии-ииииии.*

Я пробежал взглядом по серому газону за окном. В дальнем конце, под кустами, метрах в пяти от дома, я увидел соседскую кошку. Она лежала, вытянувшись на траве, и ударяла лапой по какому-то предмету. То, по чему она ударяла, было похоже на комочек глины, он отлетел на несколько метров и очутился ближе к окну. Кошка встала и побежала за ним. Комочек неподвижно лежал в траве. Кошка несколько раз осторожно тронула его лапкой, вытянула шею и как будто ткнула носом, прежде чем открыла пасть и схватила его зубами. Тут писк повторился снова, и я понял, что это мышь. Неожиданный звук, кажется, смутил кошку. По крайней мере, она мотнула головой и отбросила добычу. На этот раз мышь не стала ждать, а стремглав бросилась прочь по лужайке. Кошка неподвижно следила за ней глазами. Можно было подумать, что она решила отпустить мышку. Но затем, в последний момент, когда мышь добежала до клумбы у забора, отделявшего наш участок от участка Престбакму, она бросилась вдогонку. В три прыжка она ее снова схватила.

Из соседней комнаты вдруг послышался папин голос. Тихое бормотание, похожее на начало или конец фразы, – так бывало, когда он говорил во сне. В следующий момент в соседней комнате кто-то встал с кровати. По легким шагам я понял, что это мама. Кошка в саду начала скакать вокруг мыши. Это было похоже на танец. Пронесся новый порыв ветра, и трава снова склонилась убегающей волной. Я взглянул на сосну и увидел, как чутко затрепетали ее тонкие и хрупкие ветки, чернея на фоне желтой и круглой луны. Мама открыла дверь ванной. Услышав, как она опустила сиденье унитаза, я закрыл руками уши и принялся тихонько напевать. Звуки, которые она издавала, шипящие, словно она выпускает пар, казались мне чем-то ужасным. Папино громкое журчание я тоже старался заглушить, хотя по сравнению с маминым шипением оно было еще терпимым.

– Аааааа, – завел я, одновременно мысленно считая до десяти и следя глазами за кошкой. Очевидно, наскучив играть, она схватила мышь зубами и, шмыгнув в кусты, перебежала через дорогу на двор к Густавсенам; там она опустила мышку на землю возле трейлера. Стоя над мышью, кошка глядела на нее не спуская глаз. Мышь лежала совершенно неподвижно, как неживая. Кошка вскочила на каменную ограду и пошла к одному из шаров на столбе, служив-

ших солнечными часами. Я убрал ладони от ушей и перестал напевать. В ванной зашумела обрушившаяся из бачка вода. Кошка внезапно обернулась и посмотрела на мышшь, та лежала все так же неподвижно. Открылся кран, и в раковину струей хлынула вода. Кошка соскочила с ограды, вышла на дорожку и улеглась в львиной позе. В тот самый момент, как мама, нажав на ручку, открыла дверь, тело мышки вдруг дернулось, словно этот звук пробудил в ней импульс к движению, и в следующий миг она в отчаянном усилии снова пустилась в бегство от кошки, которая, очевидно, этого и ждала, поскольку в долю секунды перешла от покоя к погоне. Но на этот раз она опоздала. Белый кусок шифера на лужайке стал спасительным прибежищем для мыши, которой удалось зашмыгнуть под него на секунду раньше, чем туда подоспела кошка.

Мне словно передались стремительные движения обоих животных, и после того, как я лег, сердце продолжало колотиться. Может, я и сам был такой зверек? Через некоторое время я перелег по-другому, положил подушку в изножье и приоткрыл занавеску, чтобы видеть из кровати усеянное звездами небо, так похожее на песчаный пляж, на который в незримой для нас дали набегают волны моря.

Знать бы, что находится там, где кончается Вселенная?

Даг Лотар говорит, что там нет ничего, Гейр – что там пекло. Я тоже думал, как Гейр, а насчет моря подумал только из-за того, что звездное небо похоже на то, что я сказал.

В спальне у папы и мамы снова стало тихо. Я задернул занавеску и закрыл глаза. Постепенно меня наполнили царившие в доме покой и тьма, и я уснул.

* * *

Когда на следующее утро я встал, бабушка и дедушка пили с мамой кофе в гостиной. Папа шел по лужайке с разбрызгивателем. Он установил его на краю лужайки так, чтобы тонкие струйки, похожие на машущую ладонь, попадали не только на траву, но и на огородные грядки ниже по склону. Солнце, стоявшее над лесом с восточной стороны дома, заливало сад своими лучами. В воздухе, как и вчера, не чувствовалось ни ветерка. Небо с утра, как почти всегда, было туманное. Ингве завтракал на кухне, там был накрыт стол. Белые яйца в коричневых рюмках напомнили мне, что сегодня воскресенье. Я сел на свое место.

– Что вчера случилось? – спросил Ингве, понизив голос. – За что тебя оставили без прогулки?

– Я сломал телевизор, – ответил я.

Брат вопросительно посмотрел на меня, его рука с бутербродом, который он хотел поднести ко рту, замерла на полпути.

– Да я просто включил его для бабушки и дедушки. А он вдруг – хлоп и погас. Они ничего про это не говорили?

Он откусил большой кусок бутерброда с пряным сыром и отрицательно покачал головой. Я стукнул ножом по яйцу, разбил его, зачерпнул ложечкой мягкий белок, взял из солонки щепотку соли и посыпал яйцо сверху, несколько крупинок упало рядом. Намазал ломтик хлеба спредом, налил в стакан молока. Внизу папа отворил дверь. Я съел белок и сунул ложку глубже в яйцо, чтобы проверить, вкрутую оно сварено или всмятку.

– Я и на сегодня наказан, – сказал я.

– На весь день или только вечером?

Я пожал плечами. Яйцо было сварено вкрутую, желток раскрошился, когда я зачерпнул его ложечкой.

– Вроде на весь день, – сказал я.

Пустая дорога лежала, озаренная солнцем. Но в канаве под густо нависшими еловыми ветвями стояла сумрачная тень.

Вниз с горы на полной скорости неся велосипед. Парню, который ехал на нем, было лет пятнадцать, одной рукой он держал руль, другой придерживал прикрепленную к багажнику бензиновую канистру. Черные волосы развевались на ветру.

На лестнице послышались папины шаги. Я выпрямился, поспешным взглядом окинул стол, все ли на нем в порядке. Кусочек раскрошившегося яйца упал мимо яичной подставки, я смахнул его через край стола, подставив ладошку, и положил на блюдце. Ингве помедлил и едва не опоздал вовремя подвинуть стул к столу и распрямить спину, но все-таки успел, и когда вошел папа, он уже сидел прямо, поставив ступни вместе.

– Собирайте купальные принадлежности, ребята, – сказал папа. – Мы едем в Хове.

«И я тоже?» – чуть было не спросил я, но вовремя спохватился, сообразив, что он мог забыть о моем наказании, а мой вопрос ему о нем напомнит. Даже если он не забыл, а просто передумал, лучше было промолчать: вдруг он вспомнит и решит, что вчера поступил неправильно, а я не хотел, чтобы он так подумал. Поэтому я просто взял свои плавки и полотенце, сушившиеся в котельной, сложил их в пластиковый мешок вместе с маской для подводного плавания, которая могла пригодиться, если мы будем на одном из пляжей в Хове, и сел в своей комнате ждать, когда скажут, что пора ехать.

Спустя полчаса мы выехали на мористую сторону острова; день выдался на редкость хороший, может, самый погожий за все лето, море лежало такое спокойное, что его было почти не слышно, и это, вместе с вековечно безмолвными скалами и молчанием леса, придавало всей окружающей природе что-то нереальное: каждый шаг по камням, каждое звяканье бутылок производили впечатление чего-то небывалого, знойное солнце в зените казалось чем-то первозданным и чужеродным, а море в этот день поднималось к горизонту пологой горкой, тогда как подернутое нежной дымкой небо легчайшим сводом парило над водной гладью; мы с Ингве, папа и мама переоделись в купальные костюмы, и все – кто побыстрей, а кто неторопливо – из раскаленной жары погрузились в прохладные объятия моря, и только бабушка с дедушкой так и остались сидеть на берегу, одетые по-выходному, словно ничего, что существует вокруг и что происходит, их не коснулось. Они словно и не заметили перемен, которые произошли после пятидесяти лет, как будто то время и вестланские обычаи не только наложили на них поверхностный отпечаток, выраженный в одежде, манерах, говоре, а были частью их внутренней сущности, шли из глубин души, составляли самую основу их личности. Странно было смотреть на них, как они сидят на камне, щурясь от яркого света, который льется на нас со всех сторон, – они выглядели здесь такими чужими.

* * *

На следующий день они уехали домой. Папа отвез их в Хьевик, заодно навестив своих родителей, а мама взяла меня и Ингве и поехала с нами на озеро Йерстадванн, мы собирались купаться, есть печенье и отдыхать, но, во-первых, мама не сразу нашла дорогу к пляжу, поэтому нам пришлось довольно долго пробираться через лесные заросли, во-вторых, в том месте, где мы вышли к озеру, вода оказалась зеленой от водорослей, а каменный берег – покатым и скользким от слизи, а в-третьих, едва мы поставили на землю сумку-холодильник и корзину с печеньем и апельсинами, как пошел дождь.

Мне стало жалко маму: она хотела устроить нам веселую вылазку на природу, а получилось совсем не то. Но выразить это не было никакой возможности. Это была одна из тех вещей, о которых остается только поскорее забыть. Что оказалось несложно: эти дни были полны новых удивительных переживаний. Мне вскоре предстояло пойти в школу, это означало, что надо было обзавестись множеством новых вещей. Первое и главное – это ранец, который мы с мамой в очередную субботу купили в магазине: прямоугольный, синего цвета, весь блестящий и гладкий, с белыми ремешками. Внутри у него было два отделения, и я сразу же положил

туда новенький оранжевый пенал с карандашом, ручкой, ластиком и точилкой и единственную купленную тетрадку с обложкой в оранжево-коричневую клетку, в точности как у Ингве; вдобавок, чтобы чем-то заполнить пустоту, я положил туда несколько комиксов. Отныне он встречал меня вечером на полу рядом с письменным столом, и не давал мне покоя, потому что оставалось еще долго ждать того дня, когда я вместе со всеми моими приятелями пойду в первый класс. Однажды мы уже побывали в школе, еще весной, и познакомились с нашей будущей учительницей, посидели за партами, немножко порисовали, но тогда все было как бы понарошку и не всерьез. Некоторые школу ненавидели, из старших почти все говорили, что ненавидят, и мы знали, что вообще-то и нам бы следовало так, не отставая от них, однако предстоящее событие было слишком заманчиво, мы так мало знали о школе и так многого от нее ждали, не говоря уже о том, что, став школьниками, мы перейдем в высшую лигу, к большим ребятам, в каком-то смысле станем такими, как они, и вот тогда уж можно будет ненавидеть школу, но не сейчас... Разговаривали мы о чем-то другом? Почти никогда. В местной Ролигхеденской школе, в которой работали мой папа и папа Гейра и куда ходили старшие дети, мест уже не было, слишком много набралось первоклассников; в новые поселки понаехало столько семей, что нам предстояло отправиться в школу на восточной окраине острова, километрах в пяти-шести от дома, и учиться там вместе с незнакомыми ребятами. Водить туда обещали на автобусе. Для нас это было целое приключение, да к тому же и предмет гордости. За нами каждый день будет приезжать автобус и забирать нас в школу!

Еще мне купили светло-синие брюки и куртку, а к ним темно-синие кроссовки с белыми полосками на подъеме. Несколько раз, когда папы не было дома, я надевал новый наряд и ходил в переднюю поглядеть на себя в зеркало, иногда нацепив на плечи ранец, а уж когда наконец-то настал долгожданный день и я встал на крыльце, чтобы мама меня сфотографировала, то кроме волнения перед неизвестностью, от которого сосало под ложечкой, я ощутил какое-то гордое, чуть ли не победное чувство, которое я всегда испытывал от новой и нарядной одежды.

Накануне вечером я принял ванну, и мама вымыла мне голову. Утром я проснулся, когда в доме было еще тихо, все спали, солнце только выползло из-за елок при дороге. Какая же это была радость достать из шкафа и надеть новую одежду! За окном еще по-летнему пели птицы, а небо, затянутое легкой дымкой, голубело всем своим громадным простором. Дома по обе стороны дороги еще не проснулись, но скоро в них закипит жизнь, как на 17 Мая², когда повсюду разлито нетерпеливое ожидание праздника. Я вынул из ранца комиксы, закинул его себе на спину, подтянул ремешки, снова надел на плечи. Подергал туда-сюда молнию на куртке, подумал, как лучше – застегнуть или не застегивать, потому что когда она застегнута, то под ней не видно футболку... Вышел в гостиную, посмотрел в окно, на показавшийся из-за зеленых деревьев пламенеющий оранжевый диск солнца, перешел в кухню и, ничего не трогая, посмотрел на дом Густавсена, где еще не было заметно никакого движения. Постоял перед зеркалом в прихожей, несколько раз застегнул и расстегнул молнию... Футболка тоже такая красивая, что жаль, если ее никто не увидит.

Вот что можно – почистить зубы!

Бегом в ванную, выхватить из стаканчика зубную щетку, намочить, выдавить пасту. Я долго и старательно чистил зубы, глядя на себя в зеркало. Звук от щетки, которой я водил по зубам, наполнил голову, заглушая все другие звуки, поэтому я не слышал, как встал папа, и заметил его, только когда он появился на пороге. Он был в одних трусах.

– Ты что – чистишь зубы перед завтраком? Что за ерунда! Сейчас же положи щетку на место и ступай в свою комнату!

² 17 Мая – День Конституции Норвегии – традиционно широко отмечается в стране и является одним из любимейших праздников.

Не успел я ступить на красный ковролин в прихожей, как папа уже захлопнул за собой дверь, и послышалось журчание струи, бьющей в унитаз. Я залез с коленками на кровать и стал глядеть в окно на дом Престбакму. Никак за темным кухонным окном замаячили две головы? Да, так и есть. Они уже собираются. Вот бы мне сейчас радиопередатчик, я бы поговорил с Гейром. Как было бы здорово!

Папа ушел из ванной в спальню. Я услышал папин голос, потом мамин. Значит, она проснулась?

Я подождал в комнате, пока она не встала и не пошла в кухню, где уже чем-то громыхал папа. Прячась за ее спиной, я уселся за стол на свое место. К завтраку были хлопья, у нас их редко покупали. Мама поставила мне глубокую тарелку и дала ложку, я полил молоком золотистые, кое-где продырявленные и неодинаковые по форме хлопья и тут подумал, что они вкуснее всего, когда хрустящие, то есть пока не намокнут. Но после того как я съел несколько ложек и они размякли и пропитались вдобавок к собственному вкусу еще и вкусом молока и сахара, которым я их щедро посыпал, оказалось, что так еще вкуснее.

Или нет?

Папа ушел в гостиную, захватив с собой чашку. Он обычно не завтракал, а уходил с чашкой кофе посидеть на террасе. Вошел Ингве, не говоря ни слова, сел за стол, насыпал себе хлопьев, полил молоком и, посыпав их сахаром, стал торопливо есть.

– Радуюсь? – спросил он через некоторое время.

– Немножко, – сказал я.

– Тут нечему радоваться, – сказал он.

– Есть чему, да еще как, – сказала мама. – Ты-то сам еще как радовался, когда пошел в школу. Вспомни-ка! Не забыл еще?

– Да-а, – протянул Ингве. – Вообще-то помню.

Он выезжал в школу на велосипеде обыкновенно немного раньше, чем папа отправлялся туда на машине. Папа часто успевал еще поработать дома до начала первого урока. Ингве ездил с папой разве что в виде исключения, если, например, за ночь навалило много снега, чтобы не создавалось впечатление, будто он пользуется особыми привилегиями, как сын учителя.

Когда мы позавтракали и папа и Ингве уехали, мы с мамой еще посидели на кухне. Она читала газету, я болтал не закрывая рта.

– Как думаешь, мама? Мы будем на первом уроке писать? – спрашивал я. – Или на первом уроке занимаются счетом? Туре говорит, мы будем рисовать, чтобы не слишком перегружались в первый же день. Ведь не все же умеют писать. Или считать. Я один это могу. Во всяком случае, насколько я знаю. Я научился в пять с половиной. Помнишь?

– Помню ли я, как ты научился читать? Ты об этом? – переспросила мама.

– Помнишь, на автовокзале, как я там прочел – «кафе-фетерий»? Ты тогда засмеялась. И Ингве засмеялся. Теперь-то я знаю, что правильно будет «кафетерий». Хочешь, я прочитаю тебе заголовки?

Мама кивнула. Я прочитал. По слогам, но все правильно.

– Все правильно, молодец, – сказала мама. – Тебе легко будет в школе.

Не отрываясь от газеты, она почесала ухо тем движением, которое было присуще ей одной, – быстро-быстро, как кошка.

Потом отложила газету и взглянула на меня:

– Ну, ты рад?

– Еще бы, – ответил я.

Она улыбнулась и погладила меня по головке, встала и начала убирать со стола. Я пошел к себе в комнату. Уроки в школе начнутся еще только в десять часов, ради первого дня. Но мы все равно чуть не опоздали, как это нередко случалось с мамой: в такие дни, как сегодня, она часто забывала следить за временем. В окно я видел, как поднялась суматоха в других домах, где

жили первоклассники, то есть у Гейра, Лейфа Туре, Трунна, Гейра Хокона и Марианны. Там причесывались, поправляли платья и рубашки, фотографировались на память. Когда и я наконец встал перед мамой, улыбаясь и одной рукой заслоняясь от солнца, которое уже довольно высоко поднялось над верхушками деревьев, все остальные уже давно разъехались. Мы остались последними и поняли вдруг, что опаздываем. Тут мама, нарочно ради этого дня взявшая на работе отгул, стала меня поторапливать, открыла дверцу зеленого «фольксвагена», выдвинула переднее сиденье и, пока я усаживался на заднее, достала из сумки ключ и вставила его в зажигание. Она закурила сигарету, подала назад и, оглянувшись через плечо, переключила передачу и поехала вниз по склону. Рокот мотора гулко отдавался от стен. Я подвинулся на середину, откуда можно было смотреть вперед через зазор между двумя передними сиденьями. Два белых газгольдера по другую сторону пролива, знакомая дикая черешня, красный дом Кристена, затем спуск к марине, куда мы почти никогда не ездили; маршрута, который мне предстояло досконально изучить в следующие шесть лет весь до последней лесной полянки и каменной изгороди вдоль дороги, ведущей к маленьким поселкам на восточном берегу острова, мама не знала, и это ее нервировало.

– Не помнишь, Карл Уве, нам туда? – спросила она, гася сигарету в пепельнице и глядя на меня в зеркало.

– Не помню, – сказал я. – Но, кажется, так правильно. Во всяком случае, школа была слева.

Внизу у моста стоял магазин, и вокруг кучка домов, но никакой школы. Море было густосинее, а там, куда падали тени окружающих зданий, почти черное, такого насыщенного и как бы не тронутого зноем цвета, который отличался от всех остальных блеклых красок, словно выгоревших после жары, которая продержалась несколько недель. Холодная морская синева контрастировала с желтоватыми, бурыми и блекло-зелеными тонами.

Теперь мама ехала по гравийной дороге. За нами столбом стояла пыль. Когда дорога начала сужаться, а впереди так и не показалось крупных построек, мама развернулась в обратную сторону и поехала назад. На другой стороне вдоль берега тянулась другая дорога, и мама наугад свернула на нее. Эта дорога тоже кончилась, не приведя ни к какой школе.

– Мы опоздаем? – спросил я.

– Возможно, – сказала мама. – Как я не догадалась взять с собой карту!

– А ты туда никогда не ездила? – спросил я.

– Как-то ездила, – сказала она. – Только я плохо запоминаю дорогу, не то что ты.

Мы поехали вверх по склону холма, с которого только что съехали вниз, и возле какой-то часовни выехали на шоссе. Мама замедляла ход возле каждого дорожного знака и пристально вглядывалась в лобовое стекло.

– Вон она, мама! – закричал я, взволнованно тыча пальцем.

Школа еще не показалась, но я узнал лужайку справа; на вершине пологого холма, который начинался за ней, стояла школа. К ней вела узкая гравийная дорожка, рядом стояло много машин, и, когда мама свернула на нее, я увидел толпу народа на школьном дворе, а перед нею, стоя на пригорке рядом с флагштоком, на который все смотрели, что-то говорил мужчина и размахивал руками.

– Скорее, мама! – сказал я. – Уже началось! Скорее!

– Знаю, – сказала мама. – Но сначала нужно где-то припарковаться. Кажется, вот здесь есть место. Да.

Мы очутились перед белым старомодным зданием, в котором находились мастерские и спортзал. Перед ним-то, на заасфальтированной площадке, мама и поставила машину. Мы тут еще ничего толком не знали и потому, вместо того чтобы пройти коротким путем через футбольное поле, отправились к школьному двору по дороге на другой стороне. Мама бежала рысцой, волоча меня за руку. Ранец так чудесно стучался о мою спину, каждый хлопок напоминал

мне, какая красота висит у меня за спиной, блестя на солнце, а это сразу напомнило про светло-синие брюки, светло-синюю куртку и темно-синие кроссовки.

Когда мы наконец взобрались наверх, толпа уже медленно потянулась в здание школы.

– Мы, кажется, опоздали к приветственной речи, – сказала мама.

– Ничего, мама, – сказал я. – Пошли.

Увидев Гейра с мамой, я побежал к ним и потянул за собой свою маму, они поздоровались, улыбнувшись друг другу, и мы вместе с толпой детей и родителей двинулись к крыльцу. У Гейра был точно такой же ранец, как у меня и как у всех других мальчиков, а у девочек они были все разные, по крайней мере, так мне показалось.

– Куда мы идем? Ты знаешь? – спросила мама у Марты, мамы Гейра.

– Нет, – засмеялась Марта. – Мы идем за их учительницей.

Я посмотрел в ту сторону, куда она кивнула. Там и правда оказалась наша фрекен. Она ждала возле лестницы и сказала, чтобы все ученики ее класса шли вниз, и мы с Гейром наперегонки скатились по ступенькам через толпу, а затем побежали в самый конец коридора. Но наша фрекен осталась перед дверью рядом с лестницей, так что мы зашли не первыми, как думали, а среди самых последних.

В класс набилось полным-полно нарядно одетых детей и родителей. В окно виднелась лужайка, а сразу за ней начинался лес. Фрекен встала за стол, установленный на небольшом помосте; на доске за ее спиной розовым мелом было выведено «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, 1-й “Б”!» в рамочке из цветов. На стене над доской висели карты и таблицы.

– Здравствуйте все! – сказала учительница. – И добро пожаловать в начальную школу Саннеса! Меня зовут Хельга Тургерсен, и я буду вашей классной руководительницей. Я очень этому рада! И у нас с вами будет много разных интересных занятий. Сегодня новички не только вы. Я тоже. Вы – мой первый класс.

Я огляделся. Взрослые все улыбались. Почти все дети вертели головами и разглядывали друг друга. Я знал тут Гейра Хокона, Трунна, Гейра, Лейфа Туре и Марианну. И того мальчика, который всегда швырялся в нас камнями из дома, где жила страшная собака. Остальных я видел в первый раз.

– А сейчас мы проведем переключку, – сказала фрекен. – Кто-нибудь знает, что такое переключка?

Никто не ответил.

– Вы будете вызывать нас по именам, и тот, кого называли, будет отвечать «Я», – сказал я.

Тут все на меня посмотрело. И я заулыбался во весь рот, показав свои торчащие зубы.

– Правильно, – сказала фрекен. – Начнем с буквы «А», потому что «а» – первая буква алфавита. Его мы будем потом учить. Итак – «А»: Анна Лисбет!

– Я, – откликнулся девчачий голос, и все на него обернулись, я тоже.

Голос принадлежал худенькой девочке с черными, блестящими волосами. Она была похожа на индианку.

– Асгейр? – спросила фрекен.

– Я! – сказал длинноволосый мальчик с большими зубами.

Когда переключка закончилась, мы расселись по партам, а родители встали у стенки. Фрекен раздала нам всем по блокфлейте и по две тетрадки – беловую и черную, вручила каждому расписание уроков, копилку и желтую брошюрку местного сберегательного банка с желтым муравьем на обложке. Потом она рассказала, чем мы будем заниматься этой осенью, среди прочего сообщила об уроках плавания, которые будут проводиться в другой школе по ту сторону пролива, потому что у нас в школе нет своего бассейна. Она раздала нам листочки, где было про это написано, и к нему прилагалась отдельная бумажка, чтобы те, кто желает заниматься плаванием, заполнили ее и сдали. Потом мы при родителях немножко порисовали, и на

этом уроки закончились. Всерьез все начнется только завтра. Завтра мы приедем на автобусе и проведем в школе три часа уже одни, без родителей.

Когда мы вышли из класса, я весь был еще в возбуждении от всего нового и непривычного, что обрушилось на меня в этот день, это чувство не ушло и тогда, когда новые одноклассники сели по машинам и поехали домой, ведь так бывало разве что 17 Мая, когда разъезжались все сразу; но как только мы тронулись, мой восторг сменился разочарованием, и по мере приближения к дому я все больше и больше расстраивался.

Получается, не произошло ничего особенного.

Я уже умел читать и писать, и надеялся, что мне выпадет случай блеснуть этим в первый же день. Ну, хотя бы немножко! И я очень ждал перемены, когда прозвонит звонок с урока и на урок. Мечтал воспользоваться новым пеналом и двумя отделениями новенького ранца.

Нет, этот день не оправдал моих ожиданий, а нарядную одежду, в которой я красовался, дома придется снять и убрать в шкаф до следующего торжественного случая. Я немного посидел с мамой на кухне и поболтал с нею, пока она готовила обед. Мне нечасто выдавался случай побыть с ней наедине среди бела дня, тем более после того, как мы с ней только что пережили вместе такое важное событие, поэтому я воспользовался такой возможностью на всю катушку и болтал не умолкая.

– Вот бы у нас была кошка! Я бы тогда с ней играл, – сказал я. – Мы не можем завести кошку?

– Было бы здорово! – сказала мама. – Я тоже люблю кошек. С ними весело.

– А папа? Значит, он не любит кошек?

– Не знаю, – сказала мама. – Во всяком случае, не так, как я. Кроме того, он, наверное, считает, что с кошкой много хлопот.

– Но я же сам могу ухаживать за ней, – сказал я. – Мне это ничего не стоит.

– Знаю, – сказала мама. – Поживем – увидим.

– Поживем да поживем! – сказал я. – Но если Ингве тоже захочет кошку, тогда нас уже трое за то, чтобы ее завести?

Мама засмеялась.

– Все не так просто, – сказала она. – Так что наберись терпения. Как знать, может, и получится.

Она положила очищенную морковь на доску и стала ее резать, потом высыпала с доски в большую кастрюлю, в которой уже варились большие кости и куски мяса. Я стал смотреть в окно. Сквозь дырочки в оранжевой занавеске, которую связала мама, я видел, что на дороге сейчас пусто, как всегда в это время дня.

Внезапно остро запахло луком, и я обернулся к маме. Она как раз чистила луковицу, держа ее на отставленной руке, глаза у нее слезились.

Повернувшись снова к окну, я увидел Гейра, он бежал вниз по дороге. Он тоже уже переоделся в обычную одежду. В следующий миг в приотворенное окно долетел скрип его ботинок по гравии, он подбежал к нашему крыльцу и позвал:

– Карл Уве, пойдешь гулять?

– Пойду погуляю, – сказал я маме, соскакивая со стула.

– Погуляй. Куда вы пойдете?

– Еще не знаю.

– Далеко не уходите.

– Ладно, – пообещал я и побежал, открыл дверь, чтобы Гейр не ушел, подумав, что в доме никого нет, крикнул ему «Здорово» и надел кроссовки.

– У меня есть коробок спичек, – сказал он тихонько, похлопав себя по карману шорт.

– Да ну! – сказал я так же тихо. – Где ты их взял?

– Дома. Лежали в гостинной.

– Ты стирал?

Он кивнул.

Я распрямился, вышел из дома и закрыл за собой дверь.

– Надо что-нибудь зажечь, – сказал я.

– Ага, – сказал он.

– А что?

– Да не все ли равно! Что-нибудь найдем. Коробок полный. Можно много чего поджечь.

– Только где-то, откуда дым не видно, – сказал я. – Пойдем на гору?

– Можно и на гору.

– И надо захватить что-нибудь, чем тушить огонь, – сказал я. – погоди, я сейчас принесу бутылку воды.

Я снова вернулся в дом, скинул обувь и поднялся по лестнице наверх к маме, она обернулась, услышав меня.

– Мы идем в лес, – сказал я. – Мне надо бутылку с водой.

– Может быть, лучше соку? Хочешь, я дам? Как-никак у тебя первый школьный день.

Я замешкался. Нужна была вода. Но это может насторожить, потому что я всегда предпочитал сок. Посмотрев на маму, я сказал:

– Нет. У Гейра вода, так что я тоже возьму воду.

При этих словах сердце у меня учащенно забилось.

– Как хочешь, – сказала она, взяла из шкафчика под мойкой пустую бутылку из-под сока, зеленого, почти непрозрачного стекла. Наполнила ее водой, завернула крышку и подала мне:

– Хочешь взять с собой пару бутербродов?

Я подумал.

– Нет, – сказал я. – Хотя да. Два с печеночным паштетом.

Пока она доставала и отрезала хлеб, я пошире открыл окно и высунулся наружу.

– Сейчас приду, – крикнул я.

Гейр серьезно посмотрел на меня и кивнул головой.

Когда она намазала бутерброды и завернула в пергаментную бумагу, я сунул их вместе с бутылкой в пластиковый пакет и побежал к Гейру. Скоро мы уже поднимались в гору. От жары асфальт на обочине размягчился и крошился. Там, где ездили машины, он был крепче. Бывало, мы, как кошки, растягивались на асфальте, чтобы пожариться на солнце. Но сейчас было не до того.

– Можно мне на них посмотреть? – спросил я.

Гейр остановился и выгреб из кармана коробок. Я взял его в руку и потряс. Совсем еще полный. Затем я его открыл. Все головки у них были красные.

Поскорей бы зажечь огонь! Поскорей бы огонь!

– И правда совсем новый, – сказал я. – А дома не заметят, что ты его взял?

– Да ну нет, – сказал он. – Вывернись, если что. Пусть попробуют доказать!

Мы подошли к дому Молдена и ступили на тропинку. Трава была сухая и желтая, местами бурая. У Гейра строгой была мама, а папа добрым. У Дага Лотара оба были добрые, разве что папа чуть-чуть построже. У остальных строгим был папа, а мама добрая. Но ни у кого папа не был таким строгим, как у меня, уж это точно.

Гейр остановился и нагнулся с коробком в руке. Он вынул спичку и хотел уже чиркнуть о коробок.

– Ты что? – остановил я его. – Не здесь же! Тут все увидят.

– Да ну, – фыркнул он, но все же выпрямился и снова засунул коробок в карман.

Дойдя до вершины, мы, как всегда, обернулись и посмотрели вдаль. Я насчитал на проливе четыре белых треугольничка. У другого судна, побольше, на борту стояла машина вроде экскаватора. У причала на Йерстадхолмене стояли две лодки.

Скорей зажечь огонь! Скорей зажечь огонь!

Когда мы углубились в лес, я уже сам весь горел от возбуждения. Солнечные лучи лежали среди тени нависших ветвей, как маленькие дрожащие зверушки. Мы остановились за широким комлем поваленного дерева, я достал из пакета бутылку с водой и держал ее наготове, а Гейр нагнулся, зажег спичку и поднес маленький, почти невидимый огонек к торчащей из земли сухой травинке, каких там было много. Она тотчас же занялась. От нее загорелись соседние. Когда огонь сделался шириной со взрослую ладонь, я плеснул на него водой. В воздух поднялась слабенькая струйка дыма. И закурилась как бы сама по себе, без всякой связи с тем, что только что произошло.

– Думаешь, кто-нибудь видел? – спросил Гейр.

– Дым виден страшно далеко, – сказал я. – Индейцы подают дымовые сигналы на расстояние в несколько миль.

– А здорово горело! – сказал Гейр. – Видал?

Он ухмыльнулся и торопливо взъерошил пальцами волосы.

– Да, – сказал я.

– Попробуем в другом месте? – спросил он.

– Ага. Но теперь, чур, я буду зажигать.

– Лады, – согласился он и протянул мне коробок, одновременно высматривая, что бы еще поджечь.

Гейр всегда жил в нетерпеливом ожидании очередной нашей затеи, и она поглощала его целиком. Из всех, кого я знал, фантазия имела над ним самую большую власть. Когда мы в кого-то играли, например в путешественников, в моряков, индейцев, автогонщиков, астронавтов, разбойников, контрабандистов, королей, обезьян или секретных агентов, он мог играть так часами напролет, в отличие, например, от Лейфа Туре или Гейра Хокона, которым это быстро надоело, и их тянуло поскорее заняться чем-нибудь другим: равнодушные к преобразующему блеску воображения, они довольствовались вещами, как они есть, – вроде той старой машины, брошенной в молодом ивняке между детской площадкой и футбольным полем, в которой почти все было цело: и сиденья, и рычаг переключения скоростей, и педали, и приборный щиток, и бардачок, и двери; в их играх машина оставалась машиной, то есть тем, чем она была на самом деле, они выжимали сцепление, переключали скорости, крутили руль, поправляли разбитые зеркала бокового обзора, подпрыгивали на сиденье, изображая быструю езду; Гейра же увлекало как раз то, что можно привнести в игру от себя, например, что мы будто бы мчимся на этой машине, спасаясь бегством после ограбления банка, и будто стекла, осколками которых были усеяны резиновые коврики под ногами, выбиты выстрелами, и тогда одному надо вести машину, а другому ужом протиснуться в люк на крышу и палить оттуда в преследователей, – игру, которая могла продолжаться, пока мы не поставим машину в воображаемый гараж и не поделим добычу, а то и дольше, потому что как знать, не подстерегают ли нас преследователи, когда мы крадучись между деревьями возвращаемся домой на закате солнца? Или, например, что мы сидим не в машине, а в луноходе и вокруг простирается лунный пейзаж, так что, выйдя из машины, мы не можем передвигаться шагом, а только прыжками; еще, например, только нам с Гейром было интересно дойти до истоков одного из ручьев. Обычно я именно с ним отправлялся на поиски новых мест в лесу или возвращался в открытые ранее. Это мог быть старый дуб с дуплом внутри; бочаг посреди ручья; подвал недостроенного дома, наполненный водой; бетонный фундамент для громадной мостовой мачты; толстые тросы, протянутые через лес от прочной опоры к вершине горы, по которым можно было вскарабкаться на несколько метров; сарай-развалюха между Хьенной и дорогой на другой стороне, до сих пор остававшийся крайней точкой наших странствий, дальше которой мы пока не заходили, почерневший и осклизлый от гнили; два сломанных старых автомобиля; озерцо с тремя островками – каждый размером с болотную кочку, один из них целиком занимало дерево, простершее свои ветви

над глубоким черным омутом, даром что находилось оно совсем рядом с дорожной насыпью; белая кристаллическая скала над тропой, ведущей к «Фине», где можно было отколотать кусочек камня; фабрика маломерных судов за мостом возле Гамле-Тюбаккена со всеми ее цехами, лодочными остовами, ржавыми блоками и станками, окруженными чудесной смесью запахов смазочного масла, дегтя и соленой воды. Все это пространство, протянувшееся километра на два во все стороны, мы исходили вдоль и поперек во время ежедневных походов, главное в этих открытиях и находках заключалось в том, что это – тайна, которая принадлежала только нам двоим. С другими ребятами мы играли в чижика и в прятки, гоняли в футбол или ходили на лыжах, а с Гейром мы отыскивали места, в которых было что-то особенное. Вот это и свело нас с Гейром. Однако в этот раз волшебство создавалось не местом, а нашим действием.

Поджечь! Поджечь!

Мы подошли к елке в нескольких метрах от нас. Нижние ветки, свисавшие до земли, серые и голые, выглядели бесконечно старыми. Я отломил одну двумя пальцами. Она оказалась хрупкой и едва не рассыпалась в труху. Вершина холма, где росла елка, была покрыта травой, такой же сухой и тонкой, пробившейся сквозь толстый слой сухой опавшей порыжелой, почти оранжевой хвои. Я встал на колени, чиркнул красной спичечной головкой по черному боку коробка и поднес спичку к травинке, которая тут же вспыхнула. Сначала пламя было почти невидимым, заметным только по дрожанию воздуха над травинкой, стебелек тотчас съезжился. Но тут пламя подползло к метелке, медлительно и в то же время стремительно, примерно как масса потревоженных муравьев, которые ползут быстро, если смотреть на каждого в отдельности, и медленно, если одним взглядом охватить весь их строй. И вдруг пламя стало мне по пояс.

– Заливай! Заливай! – крикнул я Гейру.

Он опрокинул бутылку на пламя, огонь зашипел и сник, а я еще и ладонью прихлопнул его по краям низко стелющейся травы.

– Уф! – сказал я после того, как в один миг все прекратилось.

– Ну, вот и все дела! – засмеялся Гейр. – А ведь здорово горело! А?

Я встал на ноги.

– А нас никто не заметил? Пойдем на обрыв и проверим, не видел ли кто.

Не дожидаясь ответа, я поспешил по мягкой, поросшей мхом и вереском лесной почве в сторону деревьев. От внезапного ужаса все внутри меня сжалось, и всякий раз, как мысль касалась случившегося, там словно открывалась бездонная пропасть. Ой, что же теперь будет? Что теперь будет?

На выступе скалы я остановился у края и приставил ладонь козырьком ко лбу. Папина машина стояла во дворе. Но самого папы нигде не было видно. А что, если он вдруг был там и только что ушел в дом. Через лужайку шел Густавсен. А вдруг он видел и рассказал папе. Или потом расскажет.

Одна только мысль о папе, о самом его существовании, наполняла меня страхом.

Я обернулся к Гейру, он шел ко мне, болтая моим пластиковым пакетом. Маленький мальчик, вроде бы младший брат Гейра, играл в песочек у перекрестка. По дороге ехала в гору машина, гладкая, как насекомое, черное лобовое стекло смотрело перед собой невидящим взглядом, она свернула налево и скрылась.

– Ни в коем случае нельзя возвращаться прямой дорогой, – сказал я. – Если кто заметил дым, сразу обо всем догадается.

Ну, зачем, зачем мы это сделали?

– Здесь нас видно, – сказал я. – Пошли отсюда.

Мы отправились вниз по лесистому склону. Дойдя до подножия, пустились домой через лес, держась метрах в десяти от дороги. Остановились у большой ели с потеками смолы на коре, по цвету напоминающей жженый сахар, возле которой терпко пахло можжевельником, росшим по берегам широкого мелкого и мутного ручья, вокруг которого все было темно-зеленым. За

тонкими стволами рябин виднелся наш дом. Я осмотрел свои руки, не осталось ли на них следов копоти. Нет, ничего. Только чуть пахло гарью, поэтому я окунул их в воду и вытер о штанины.

– Что ты будешь делать со спичками? – спросил я.

Гейр пожал плечами:

– Припрячу куда-нибудь.

– Если их обнаружат, не говори про меня, – сказал я. – О том, что мы делали.

– Не буду, – обещал Гейр. – Вот тебе, кстати, твой пакет.

Мы двинулись в сторону дороги.

– Еще будешь сегодня поджигать? – спросил я.

– Вряд ли, – сказал он.

– Даже с Лейфом Туре?

– Может быть, завтра, – сказал он. И вдруг просиял: – А может, принести спички завтра в школу?

– С ума сошел!

Он засмеялся. Мы выбрались на дорогу, перешли на другую сторону.

– Ну, пока! – сказал он и побежал вверх по склону.

Обойдя мамино «жука», оставленного возле мусорных ящиков за оградой, на проплешине с пожелтелой травой, я ступил на дорожку, ведущую к дому. Во мне снова пробудился страх. Папина красная машина так и сверкала на ярком солнце. Я шел опустив глаза: не встретиться взглядом, если кто-то смотрит в окно. От одной мысли об этом во мне подымалось отчаяние. Дойдя до крыльца, откуда меня было не видно, я стиснул руки и зажмурился.

«Господи Боже, – подумал я. – Сделай только, чтобы ничего не случилось, и я обещаю тебе, что никогда больше не буду делать ничего плохого. Никогда-никогда, обещаю и даю тебе честное слово. Аминь».

Я открыл дверь и вошел в дом.

В прихожей по сравнению с улицей было прохладно, а после яркого солнца казалось совсем темно. В воздухе стоял густой запах мяса, тушенного с овощами, я нагнулся и стал расшнуровывать ботинки, аккуратно поставил их на место у стенки и стал подниматься по лестнице, стараясь придать лицу обыкновенное выражение, а поднявшись, в нерешительности постоял на площадке. Как будет естественнее: зайти сразу к себе в комнату или заглянуть на кухню, чтобы узнать, готов ли обед?

Из кухни доносились голоса, звяканье приборов и тарелок.

Я что, опоздал?

Они уже сели обедать?

Нет, нет, только не это!

* * *

Как теперь быть?

Мысль повернуться, спокойно выйти, подняться на гору, уйти в чащу леса и никогда больше не возвращаться, прорезала и взорвала мрак уныния ликующими фанфарами.

Тогда они пожалеют!

– Это ты, Карл Уве? – окликнул папа из кухни.

Я проглотил комок в горле, встряхнул головой, поморгал и перевел дух.

– Да, – откликнулся я.

– Мы обедаем. Давай сюда скорее!

Бог услышал мою молитву и сделал, как я просил. Папа встретил меня в хорошем настроении, это я понял с порога. Он сидел за столом, вытянув ноги и откинувшись на спинку стула, плечи его были расправлены, в глазах играл веселый блеск.

– Чем ты там занимался, что забыл про время? – спросил он.

Я уселся за стол рядом с Ингве. Папа сидел с торца справа, мама – с торца слева. На столе фирмы «Респатекс» – с ламинированной серо-белой столешницей в мраморных разводах и серой окантовке и блестящими металлическими ножками в резиновых колпачках – стояли коричневые обеденные тарелки, зеленые бокалы с надписью «Дуралекс» на доннышке, плетенка с хрустящими хлебцами и большой чугунок, из которого торчала деревянная поварешка.

– Гулял с Гейром, – сказал я, потянувшись к чугунку, чтобы видеть, попался ли на поварешку кусок мяса.

– Ну, и где же вы были? – спросил папа, поднося ко рту вилку. В бороде у него застряло что-то бледно-желтое, наверное кусочек лука.

– В лесу, тут, внизу.

– Внизу? – спросил он, потом прожевал и проглотил очередной кусок, ни на миг не сводя с меня глаз. – А я вроде бы видел, как вы взбирались на гору.

Меня точно парализовало.

– Там мы не были, – выговорил я наконец.

– Что за ерунда! – сказал он. – И что же вы там, интересно, вытворяли, раз ты теперь не хочешь признаваться, что вы там были?

– Да не были мы там, – сказал я.

Мама с папой переглянулись. Папа больше ничего не сказал. Мои руки снова стали меня слушаться, и я наполнил свою тарелку и принялся есть. Папа положил себе добавки, движения его по-прежнему были плавными. Ингве уже поел и сидел рядом со мной, уперев глаза в столешницу, – одна рука на коленях, другая на краешке стола.

– Ну, и как провел день наш школьник? – спросил папа. – На дом что-нибудь задали?

Я помотал головой.

– Учительница как – ничего?

Я кивнул.

– Как там ее зовут?

– Хельга Тургерсен, – сказал я.

– Точно, – сказал папа. – А живет она... Она не говорила где?

– В Сандуме, – сказал я.

– По-моему, она славная, – сказала мама. – Молоденькая, и ей там нравится.

– Но мы опоздали, – добавил я с облегчением от того, что разговор свернул на другое.

– Да? – Папа перевел взгляд на маму: – А мне ты ничего не говорила.

– Мы заблудились по дороге, – сказала мама, – вот и опоздали на несколько минут. Но самое важное мы, кажется, не пропустили. Правда же, Карл Уве?

– Правда, – промямлил я.

– Не разговаривай, пока не прожевал! – сказал папа.

Я проглотил кусок.

– Больше не буду, – сказал я.

– Ну, а у тебя, Ингве? – сказал папа. – Никаких неожиданностей в первый день?

– Нет, – ответил Ингве и выпрямился.

– Тебе ведь, кажется, сегодня на футбольную тренировку? – спросила мама.

– Да, – подтвердил Ингве.

Он поменял команду, ушел из «Траумы», которая выступала за наш остров и в которой играли все его товарищи. У них там была потрясающая форма: синяя футболка с косой белой полосой, белые шорты и носки в синюю и белую полоску. Ингве перешел в «Сальтрёд» – клуб в

поселке на том берегу залива – и сегодня отправлялся туда на первую тренировку. Брату предстояло проехать на велосипеде через мост, – раньше он никогда через мост один не ездил, – и дальше по дороге до стадиона. Примерно пять километров, по его словам.

– Ну, а что еще было в школе, Карл Уве? – спросил папа.

Я кивнул и, дожевывая, сказал:

– У нас будут уроки плавания. Шесть занятий. В другой школе.

– Вот оно что, – сказал папа и провел рукой по губам, но застрявший в бороде кусок там так и остался. – Это неплохо. А то куда же это годится – жить на острове и не уметь плавать!

– К тому же это бесплатно, – сказала мама.

– Только нужно купить купальную шапочку, – сказал я. – Всем велели купить. И еще, может быть, плавки? Не трусы, а эти... ну, в общем.

– Шапочку мы, пожалуй, купим. А вот насчет плавок... Вполне обойдешься трусами.

– И очки для ныряния, – сказал я.

– Еще и очки тебе? – Папа насмешливо посмотрел на меня. – Это еще надо подумать.

Отодвинув от себя тарелку, он поудобнее уселся на стуле, прислонившись к спинке.

– Спасибо за обед, мать! Было очень вкусно, – сказал он.

– Спасибо за обед, – сказал Ингве и ушмыгнул из кухни. Через пять секунд я услышал, как у него защелкнулась дверь, он уже закрылся у себя в комнате.

Я немножко посидел за столом, на случай если папа захочет еще что-то сказать. Он посидел, глядя в окно на четверых парней с велосипедами, которые собрались у дальнего перекрестка, затем поднялся, поставил тарелку в мойку, взял с буфета апельсин и, не сказав никому больше ни слова, отправился в свой кабинет, прихватив под мышкой газету. Мама начала убирать со стола, а я пошел к Ингве. Он укладывал рюкзак. Я сел на его кровать и стал смотреть, как он собирается. У него были хорошие бутсы, черные «аидасы» со съёмными шипами, очень приличные футбольные шорты «умбро» и черные с желтым стартовые носки. Сначала мама купила ему черно-белые носки «гране», но он отказался их надевать, так что они перешли мне. Но лучше всего был аидасовский тренировочный костюм, синий с белыми полосками, из блестящей, гладкой материи, а не из привычного тусклого эластичного трикотажа, как для гимнастической одежды. Я иногда нарочно нюхал его, погружая нос в шелковистый материал, потому что запах у него был удивительный. Возможно, мне так казалось потому, что я сам мечтал о таком костюме и этот запах сконцентрировал в себе представление о том, чего я так вожделел, а возможно, потому, что этот насквозь синтетический запах, не похожий ни на какой другой, словно пришел из другого мира. Как некий привет из будущего. Кроме тренировочного, у Ингве был еще и сине-белый аидасовский непромокаемый костюм, который он надевал сверху в дождливую погоду.

Ингве молча уложил вещи в сумку, застегнул большую красную молнию и сел за письменный стол. Стал смотреть расписание.

– Вам сегодня что-нибудь задали?

Он помотал головой.

– И нам тоже ничего не задали, – сказал я. – Ты уже обернул учебники?

– Нет. У нас на это целая неделя.

– А я займусь сегодня вечером, – сказал я. – Мама будет мне помогать.

– Здорово, – сказал он, вставая. – Ну, я пошел. Если не вернусь до полуночи, значит, меня слопал человек без головы. Интересно, как он это делает!

Смеясь, он пошел вниз по лестнице. Я смотрел из окна ванной комнаты, как он, встав на педаль одной ногой, перекинул другую через раму и поехал, налегая изо всех сил на педали, чтобы потом, достигнув вершины холма, катить с нее свободным ходом до самого перекрестка.

Когда он скрылся, я вышел в коридор и немного постоял, стараясь определить, где сейчас мама и папа. Но в доме стояла полная тишина.

– Мама? – позвал я негромко.

Она не отзывалась.

Я зашел в кухню, но там ее не было; затем в гостиную, там тоже не было никого. Может быть, она ушла в спальню?

Я направился туда, постоял немного под дверью.

Никого. Тогда, может быть, в саду?

Из нескольких окон я оглядел все уголки сада, но и там ее не обнаружил.

А машина ведь вроде бы стояла перед домом?

Да, вон она.

Не найдя маму, я вдруг почувствовал себя как-то неуютно, дом открылся с какой-то непривычной, пугающей стороны, и, чтобы побороть это ощущение, я ушел к себе читать комиксы, и тут вдруг меня осенило, что она же, наверное, в кабинете у папы.

В кабинет я не заглядывал почти никогда. Не считая тех редких случаев, когда надо было спросить у папы разрешения, например, лечь вечером попозже, чтобы посмотреть ту или иную передачу, – в таких случаях я всегда стучался и ждал, когда он меня пригласит. Но чтобы туда постучать, мне требовалось усилие, порой такое, что я предпочитал лечь, не посмотрев передачи. Несколько раз случалось, что он сам нас туда звал, чтобы что-нибудь показать или отдать, например конверт с марками, который мы затем замачивали в мойке мини-кухни, – другого применения эта мойка, сколько мне помнится, не имела; намокшие марки отклеивались, и, дождавшись, когда они просохнут, мы могли их вставить в свои альбомы.

Ни для чего другого я к папе не заходил. Я даже в мыслях не допускал заглянуть без него к нему в кабинет. Слишком велик был риск, что он это обнаружит. Любое нарушение заведенного порядка, как бы я ни старался его скрыть, он всегда каким-то образом обнаруживал, как будто обладал неким чутьем.

Как вот с этой прогулкой на горе. Хотя он не мог ничего знать, кроме того, что мы там были, он сразу догадался, что мы занимались чем-то недозволенным. Не будь он в этот день в таком хорошем расположении духа, он непременно бы докопался до истины.

Я лег на живот и стал читать один из выпусков «Темпо». Журнал я взял у Ингве, а ему дал его почитать Ян Атле. Я уже прочитал его несколько раз, эти комиксы предназначались для ребят постарше, и в моих глазах их окружала аура далекого, но блистательного мира. Я толком не понимал, когда и где разворачивалось действие – во Вторую мировую войну, как в «Крыльях», «Поединке» и «Борьбе», или в Америке восемнадцатого века, как в «Тексе Уиллере», «Ионе Хексе» и «Блуберри», или в Англии между двумя мировыми войнами, как в «Поле Темпле», или же вовсе в выдуманных мирах, как в «Фантоме», «Супермене», «Бэтмене», «Фантастической четверке» и всех диснеевских историях, – но впечатления от прочитанного различались очень сильно: так, выпуск «Темпо», где действие происходит на гоночной трассе, или некоторые выпуски «Бастера», как, скажем, «Джонни Пума» и «Волшебные бутсы Билли», казались мне особенно увлекательными, – по-видимому, оттого, что были ближе к той знакомой реальности. Кожаные комбинезоны и шлемы с визиром, как у гонщиков «Формулы-1», можно было увидеть летом на мотоциклистах, приземистые автомобили со спойлерами – по телевизору, где машины порой врезались в ограждение, переворачивались и загорались, а водители либо погибали в огне, либо выбирались из горящих останков машины и уходили с места аварии как ни в чем не бывало.

Обыкновенно я с головой погружался в эти истории, ни о чем не задумываясь, ведь вся соль в том и была, чтобы не думать, отключаться от собственных мыслей, следя только за тем, как разворачивается сюжет. Но на этот раз я очень быстро отложил комикс, мне почему-то не сиделось спокойно, – а было еще только пять часов, – и я решил пойти погулять. Дойдя до лестницы, я остановился. Нигде ни звука. Значит, мама все еще оттуда не вышла. И что она там только делает? Она же почти никогда туда не заходила. Во всяком случае, в это время дня,

подумал я и, взяв с полу ботинки, зашнуровал. Затем постучал в дверь папиного кабинета. Вернее, в дверь, за которой находились три комнаты: ванная, кабинет и кухня с маленькой кладовкой. Это была отдельная квартирка, чтобы сдавать жильцам, но у нас ее никогда не сдавали.

– Я пошел гулять! – крикнул я. – Забегу к Гейру.

Мне было раз и навсегда сказано, чтобы я всегда сообщал, куда собираюсь пойти.

Однако голос папы, когда он после секундной паузы отозвался из кабинета, был почему-то раздраженный.

– Ладно! Ладно! – крикнул он.

Последовали еще несколько секунд тишины.

Затем раздался голос мамы, он был приветливее, как будто она пыталась загладить папину резкость:

– Хорошо, Карл Уве!

Я вышел на улицу, осторожно закрыл за собой дверь и побежал к Гейру. Я несколько раз покричал ему перед домом; тут из-за угла вышла его мама в рабочих рукавицах, одетая в шорты цвета хаки, джинсовую рубашку и черные сабо. В руке у нее была красная садовая лопата.

– Здравствуй, Карл Уве, – сказала она. – Гейр недавно ушел с Лейфом Туре.

– Куда они пошли?

– Не знаю. Они не сказали.

– Ладно. До свиданья!

Я повернулся и со слезами на глазах медленно поплелся со двора. Ну почему они не зашли и не позвали меня?

На перекрестке я остановился и тихо постоял у обочины, пытаюсь услышать их голоса. Ни звука. Я присел на бордюр. Шершавый бетон царапал кожу. В канаве росли одуванчики, они были серые от пыли. Неподалеку валялась решетка от гриля, вся заржавленная, между ее прутьев торчала выгоревшая на солнце пачка сигарет.

Куда бы они могли пойти?

Вниз, к Убекилену?

К причалам?

К футбольному полю и игровой площадке?

Неужели Гейр повел Лейфа Туре на наши места?

На гору?

Я поглядел вверх. Никаких признаков их присутствия. Я встал и пошел вниз по дороге. На перекрестке под черешней мне пришлось выбирать одну из трех дорог, ведущих к плавающей пристани. Я пошел направо, через ворота, по тропинке, заваленной свежей землей и упавшими ветками там, где она проходила под густыми кронами старых дубов, через лужайку, где мы обычно играли в футбол, хотя она с двух сторон обрывалась вниз и сплошь заросла по колено травой вперемешку с пробивающимися деревцами, которые мы вытаптывали начиная с весны, потом вдоль скального обрыва с голыми серыми уступами, кое-где покрытыми пятнами лишайника, и лесом к дороге. По другую сторону открылась недавно построенная марина с тремя одинаковыми причалами, деревянными мостками и оранжевыми понтонами.

Там их тоже не оказалось. Но я шагнул на один из причалов, к дальнему концу которого только что подошла шнека Канестрёма, и решил посмотреть, что там делается. Кроме Канестрёма на борту никого не было. Когда я встал у носа, он поднял голову и обернулся ко мне.

– А, это ты тут бродишь? – сказал он. – А я вот только что вернулся, немного порыбачил.

Его очки сверкнули на солнце. У него была борода, коротко стриженные волосы, небольшая плешка, одет он был в синие джинсовые шорты и рубаху в клеточку, на ногах – сандалии.

– Хочешь посмотреть?

Он приподнял красное ведро. Оно было полно узких гладких макрелей, блестящих и отливающих синевой. Стоило одной рыбине дернуться, в движение приходили все остальные, они лежали в ведре так тесно, что казались как бы одним существом.

– Ого! – сказал я. – Это вы все один столько наловили?

Он кивнул.

– За несколько минут. Тут рядом проходила большая стая. На несколько ужинов хватит.

Он поставил ведро на узенькие мостки. Взял старую бензиновую канистру и поставил рядом. Потом еще рыболовные снасти и коробку с крючками и блеснами. Все это – напевая старинную песенку.

– Не знаете, где Даг Лотар?

– Нет, к сожалению, – сказал он. – Он тебе нужен?

– Ну, вроде да.

– Хочешь, подвезу, если тебе наверх?

Я покачал головой:

– Да нет. У меня еще дел полно.

– Ну, всего тебе, – сказал он, выбрался на причал и подхватил свои вещи. Я заторопился прочь, чтобы не оказаться у него в машине. Бегом пересек каменистую парковку и всю дорогу до шоссе шел по каменному ограждению. Отсюда круто вверх поднималась тропинка, она шла через лес и спускалась к Утесу – месту, куда ходил купаться весь поселок, там можно было, прыгнув в воду с двухметровой скалы, доплыть до острова Йерстадхолмен по другую сторону протоки примерно десятиметровой ширины. Хотя там было глубоко, а плавать я не умел, я часто туда ходил, там всегда можно было увидеть что-нибудь интересное.

И тут из леса послышались голоса. Высокий детский голос и другой, пониже, – голос подростка. В следующий момент между рябых от солнечных пятен стволов показались Даг Лотар и Стейнар. Оба – с мокрыми волосами и полотенцами в руках.

– Привет, Карл Уве! – завидев меня, крикнул Даг Лотар. – Я только что видел гадюку!

– Да ну! Где? Здесь?

Он кивнул и остановился рядом со мной. Стейнар тоже остановился, но с таким видом, что было ясно – он не собирается разводить разговоры, а как можно скорей хочет идти, куда шел. Стейнар учился в средней школе в папином классе. У него были длинные темные волосы, а на лице уже пробивались усики. Он играл на бас-гитаре и жил в подвальной комнате с отдельным входом.

– Я, понимаешь, бегом спускался с горы, – сказал Даг Лотар, махнув рукой на дорожку. – Так быстро, как только мог, а как выскочил из-за поворота – тут она и лежит, гадюка, на тропе. Я еле остановился!

– И что было? – спросил я.

Чего я боялся больше всего на свете, так это змей и червяков.

– Она сразу уползла в кусты.

– Это точно была гадюка?

– Точно. Я увидел по рисунку на голове.

Он смотрел на меня с улыбкой. Треугольное лицо, волосы светлые и мягкие, глаза голубые, часто загорававшиеся живым огоньком.

– Что, побоишься теперь спускаться этой дорожкой?

– Не знаю, – сказал я. – А Гейр с ребятами там?

Он помотал головой:

– Только Йорн с младшим братом, а еще Евины и Марианнины родители.

– Можно я пойду с вами наверх? – спросил я.

– Давай, – сказал Даг Лотар. – Но я не могу играть, у нас сейчас будет ужин.

– Я тоже иду домой, – сказал я. – Надо обернуть учебники.

* * *

Когда мы вышли на дорогу перед нашим домом и Даг Лотар со Стейнармом отправились дальше к себе, я еще постоял на улице, высматривая, не покажутся ли Гейр и Лейф Туре. Но их нигде не было видно. Я нехотя двинулся к дому. Солнце, стоявшее над самой горой, жгло плечи. Кинув последний взгляд на дорогу внизу – вдруг они покажутся, – я побежал к тропинке, которая вела к нашему дому с другой стороны. Сначала она шла вдоль нашей ограды, затем тянулась мимо каменной изгороди, за которой жили Престбакму, укрытой зарослями тонких осин, которые все лето непрерывно дрожали, как только пополудни налетал вечерний бриз. Дальше тропинка убегала от поселка через молодую лиственную рощу и выходила на болото и дальше на полянку, лежавшую под навесом огромного бука, что стоял на крутом обрыве и покрывал своей тенью все, что было внизу. Большие деревья поражали меня тем, что каждое из них отличалось особой индивидуальностью, проявляющейся своим неповторимым выражением, которое складывалось из совокупности ствола и корней, коры и листвы, света и тени. Все они что-то говорили тебе. Конечно, не словами, но всем своим существом, которое словно бы *тянулось* к тому, кто на них смотрел. Только об этом они и говорили, о своем существе. Куда бы я ни пошел, в лес или по поселку, повсюду я слышал эти голоса, и в душу мне проникали образы, запечатленные этими бесконечно медленно растущими созданиями. Вот, например, ель у ручья на склоне под нашим домом, невероятно толстая снизу, с влажной корой и толстыми, как канаты, корнями, выступающими из земли *страшно далеко* от ствола. Уложенные расширяющейся книзу пирамидой ветви, издали такие густые и гладкие, а если подойти поближе, то видно – сплошь усеянные малюсенькими, темно-зелеными безупречно ровными иголочками одна к одной. Сухие ветки, светло-серые и пористые, – а над ними хвойные лапы, причем держащие их сучья – *вовсе не серые*, а почти черные. Сосна на участке Престбакму, высокая и стройная, как корабельная мачта, с огненно-рыжей корой и мелкими, зелеными, легкими метелками хвои на концах ветвей, которые начинались только у самой макушки. Дуб за футбольным полем, с комлем будто из камня, а не из дерева, так не похожий на компактно сложенную ель: его раскидистые ветви простирались над лесной подстилкой прозрачным лиственным балдахином – столь легким, что, глядя на него, *невозможно* было поверить, что между тонкими веточками и тяжелым комлем есть хоть какая-то связь, что они – его порождение и продолжение. Посередине ствола имелось углубление вроде пещерки, дерево словно бы выставило наружу этот плавный, но твердо очерченный и кряжистый овал, внутренность которого была размером с человеческую голову. А листья! Они все как один, в каком бы месте ни росли, всегда повторяли в своих очертаниях одинаковый, изящный, то волнистый, то зубчатый узор то плавных, то остrokонечных линий – и когда, зеленые, сочные и гладкие, качались на ветвях, и когда, опав, лежали на земле, побуревшие и ломкие. Осенью вся земля вокруг ствола покрывалась ковром из листьев – поначалу пламенно-желтые с прозеленью, они постепенно все больше темнели и блекли.

Так же и дерево на обрыве, где болото. Уж не знаю, какой оно было породы. В отличие от других больших деревьев оно выросло не одним стволом, а разошлось от корня на четыре равновеликих с зеленовато-серой корой, испещренной продольными бороздами, – словно четыре змеи распластались на все стороны, – и таким образом охватывало не меньшее пространство, чем дуб или ель, но оставляло ощущение не столько величия, сколько вкрадчивости. На одном из сучьев болталась веревка с перекладиной, очевидно привязанная ребятами из дома через дорогу, им было сюда так же близко, как мне. Сейчас там никого не было, и я поднялся по склону под дерево, схватился за перекладину обеими руками и раскачался. Я повторил это еще два раза. Затем постоял под деревом, размышляя, что бы такое придумать. Со стороны дома над обрывом, где жила семья с маленьким ребеночком, доносились голоса и звон посуды.

Людей было отсюда не видно, но я решил, что они, должно быть, в саду. Откуда-то издалека донесся звук самолета. Я вышел на осушенное болото и стал смотреть на небо. Маленький гидросамолет приближался со стороны моря, он летел очень низко, сверкая на солнце белым фюзеляжем. Когда он скрылся за гребнем, я снова пустился бежать в тень от горы напротив, там было немного прохладнее. Посмотрев наверх, где стоял дом Канестрёмов, я подумал, что они сейчас, наверное, ужинают макрелью, потому что на дворе никого не было видно, а затем посмотрел вниз на тропинку, на которой мне были знакомы каждый камушек, каждая ямка, каждый куст и каждая кочка. Если бы тут устроили соревнования по бегу от нашего дома до «Б-Макса», никто не пришел бы к финишу быстрее меня. По этой тропинке я мог бы пробежать с закрытыми глазами. Я бы ни разу не остановился, я заранее знал, что окажется за следующим поворотом, знал наизусть каждый шаг, куда лучше ступить. Когда мы бегали наперегонки по шоссе, всегда выигрывал Лейф Туре, а здесь, я точно знал, победил бы я. Это была приятная мысль и приятное чувство, и я постарался удержать их подольше.

Задолго до того, как выйти к футбольному полю, я услышал доносившиеся оттуда голоса, визг, крики и смех, которые издалека, да еще из-за деревьев, производили какое-то дурацкое впечатление. Я остановился на прогалине. Поле кишело ребятами всех возрастов, многих я едва знал в лицо, все они сгрудились вокруг мяча, стараясь по нему ударить; суетящаяся орава рывками перемещалась туда и сюда, то взад, то вперед. Футбольное поле представляло собой темную вытопанную площадку посреди леса, чуть поднимавшуюся в гору одним краем, где из черной земли торчали корни. С двух концов стояли большие деревянные ворота из лесин без сетки. С одного бока на поле вклинивалась скала, другим оно заходило на кочковатую поляну, заросшую пучками осоки. Почти все мои мечты были родом отсюда. Побегать по этому полю – это ли не счастье?

– Можно мне с вами? – крикнул я ребятам.

Каждый удар по мячу эхом отдавался от горного склона.

Стоявший в воротах Ролф обернулся.

– Если хочешь, можешь встать на ворота, – сказал он.

– Ладно, – сказал я и побежал к воротам, из которых враскачку неторопливо выходил Ролф.

– Вратарем у нас будет Карл Уве, – крикнул он ребятам.

Я встал в воротах, тщательно выбрав позицию, и начал следить за игрой на поле, постепенно я разобрался, кто наши, и, приняв наклонную стойку, приготовился принять мяч; и когда наконец его послали в ворота и слегка спустивший мяч подкатил ко мне по земле, я присел и поймал его, трижды стукнул оземь и отбил ногой. От нее на мяче появилась вмятина, он был большой, мягкий и потрепанный, цвета сухой земли. Через лопнувшую крышку проглядывала оранжевая камера. Дуга, которую он описал в воздухе, оказалась невысока, но ребята так и кинулись за ним всей оравой – любо-дорого посмотреть. Я и сам хотел стать вратарем и при каждом удобном случае старался постоять на воротах. Что может сравниться с ощущением, когда ты бросаешься за мячом и ловишь его на лету! Мешало только одно: бросок у меня получался только влево, а вправо почему-то нет, что-то во мне этому противилось. Поэтому, если мяч прилетал справа, я норовил отбить его ногой.

От деревьев по полю протянулись длинные тени, их трепещущие пятна то и дело накрывали бегущих игроков, тени то сливались, то снова разделялись. Но уже многие, вместо того чтобы бегать, только прохаживались по полю, некоторые стояли согнувшись и уперев руки в колени, и я, к своему огорчению, понял, что игра подходит к концу.

– Ну, хватит, мне пора домой, – сказал вдруг один.

– И мне тоже, – отозвался другой.

– Могли бы еще поиграть, – сказал третий.

– Мне тоже надо идти.

- Может, поделимся по новой и сыграем еще разок?
- Не, я пошел.
- Я тоже.

В несколько минут весь сценарий оказался скомкан, и поле опустело.

* * *

Бумагу для обертывания книг мама купила синюю, полупрозрачную. Мы с ней устроились на кухне, я разматывал рулон и отрезал кусок; если срез получался неровным и некрасивым, мама его выравнивала. Затем я клал на бумагу книжку, раскрывал ее переплет на обе стороны, как крылья, загибал бумагу по краям обложки и заклеивал уголки липкой лентой. Попутно мама помогала там, где надо было подправить. Она сидела рядом с вязаньем, трудясь над моим будущим свитером. Я сам выбрал модель из ее журнала с выкройками: белый свитер с темно-коричневой каймой, он был не такой, как другие: ворот – высокий и совершенно прямой, снизу по бокам шлицы, так что полы свисали вроде набедренной повязки. Вот это индейское мне особенно нравилось, поэтому я внимательно следил за тем, сколько мама уже успела связать.

Мама много рукодельничала. Занавески в гостиной и на кухне она сама связала крючком, и белые занавески в наших комнатах тоже сшила сама, у Ингве – с коричневым кантом и набивными коричневыми цветочками, у меня с красным кантом и красным набивным цветочным рисунком. Вязала она и на спицах – свитера и шапки, штопала носки, ставила заплатки на брюки и куртки. В свободное время от вязания и шитья, стряпни и мытья посуды она читала. У нас была целая полка книг, у других родителей этого не водилось. Еще у нее, в отличие от папы, были друзья, по большей части женщины ее возраста, с которыми она вместе работала, иногда она ходила к ним в гости или они к нам. Мне нравились все. Одну из подруг звали Дагни. С ее детьми, сыном Туром и дочерью Лив, мы вместе ходили в детский сад. Другая, Анна Май, толстая и веселая, всегда приносила нам шоколад, ездила на «ситроене» и жила в Гримстаде; однажды я побывал у нее в гостях с группой из детского сада. У еще одной, Марит, был сын Ларс, ровесник Ингве, и дочка Марианна – на два года младше. Мамины подруги бывали у нас нечасто, папа не любил эти посещения, но примерно раз в месяц кто-нибудь из них приходил – поодиночке или вместе; мне разрешалось посидеть с ними за столом и погреться в их лучах. А однажды вечером мы ездили в художественные мастерские при санатории «Коккеплассен», там можно было самому изготавливать разные поделки; привели своих детей и другие служащие, и мы все мастерили рождественские подарки.

Лицо у мамы было ласковое, но серьезное. Длинные волосы она заправила за уши.

- А Даг Лотар видел сегодня гадюку! – сказал я.
 - Да что ты? – спросила она. – И где же?
 - На тропинке в сторону Утеса. Он чуть не налетел на нее с разбега, едва успел остановиться. К счастью, она сама испугалась не меньше и уползла в кусты.
 - Повезло ему, – сказала мама.
 - А у вас, где ты жила в детстве, гадюки были?
- Она помотала головой:
- В Вестланне гадюки не водятся.
 - А почему?
- Мама усмехнулась:
- Не знаю. Может быть, там для них слишком холодно.

Я болтал ногами и барабанил пальцами по столу, напевая «*Kisses for me, all of the kisses for me, bye, bye, baby, bye, bye*»³.

– Канстрём наловил сегодня столько макрели, – сказал я. – Я сам видел. Он показал мне ведро. До верху полное. А мы скоро купим лодку?

– Ишь, чего захотел! – сказала она. – И лодку тебе, и кошку! Как-нибудь, может, и заведём. Но уж точно не в этом году. Может быть, на будущий? Это, знаешь ли, денег стоит. Но хочешь – спроси у папы.

Она протянула мне ножницы.

«Сама бы спросила у папы», – подумал я, но промолчал, пытаясь резать ножницами, не смыкая концов, но они сразу застряли, я нажал на кольца, на бумаге получилась зазубрина.

– Что-то Ингве задерживается, – сказала мама, выглядывая в окно.

– Он в надежных руках, – сообщил я.

Она улыбнулась:

– Это да...

– А листок, – сказал я. – Про курс плавания. Ты можешь сейчас его заполнить?

Она кивнула, и я побежал по коридору в свою комнату, отыскал в ранце бланк и только собрался бежать обратно, как внизу отворилась дверь, и я с зачастившим сердцем вдруг понял, что наделал.

На лестнице зазвучали тяжелые папины шаги. Я так и замер перед дверью ванной, встретив снизу его взгляд.

– В доме не бегать! – сказал папа. – Сколько раз тебе повторять? Ты топчешь так, что весь дом трясется. Запомнил, наконец?

– Да.

Он поднялся наверх и прошел мимо, повернувшись ко мне широкой спиной в белой рубашке.

Когда я увидел, что он вошел в кухню, последняя радость во мне погасла. Однако делать нечего – и я зашел следом за ним. Мама все так же сидела за столом. Папа стоял, глядя в окно. Я осторожно положил бланк на стол.

– Вот, – сказал я.

Оставалась еще одна книга. Я сел и принялся за нее. Двигались только мои руки, все остальное замерло. Папа что-то жевал.

– Ингве еще не вернулся? – спросил он.

– Нет, – сказала мама. – Я сама начинаю беспокоиться.

Папа глянул на стол:

– Что это ты принес?

– Курсы плавания, – сказал я. – Мама хотела подписать.

– Покажи-ка, – сказал он, взял листок и стал читать. Затем взял со стола ручку, поставил свою подпись и протянул мне бланк. – Вот, – сказал он и, кивнув на стол, приказал: – А теперь забирай все это и иди в свою комнату. Закончишь там. А тут мы сейчас будем ужинать.

– Да, папа, – сказал я. Собрал учебники в стопку, свернул бумагу, сунул ее под мышку, в одну руку взял ножницы и скотч, в другую – книжки и вышел из кухни.

Сидя за письменным столом и нарезая бумагу, чтобы обернуть последнюю книгу, я услышал шуршание гравия под колесами велосипеда. Затем отворилась входная дверь.

Когда Ингве стал подниматься по лестнице, на верхней площадке его уже ждал папа.

– Что это значит? – спросил папа.

³ «Поцелуй для меня, все поцелуй для меня, пока, детка, пока» (англ.). – Слова из песни «*Save Your Kisses for Me*» британской группы *Brotherhood of Man*, с которой она выиграла Евровидение-1976.

Ингве ответил так тихо, что я ничего не расслышал, но объяснение, по-видимому, было удовлетворительным, потому что в следующий момент он был пропущен и вошел в свою комнату. Я положил учебник на отрезанный лист, подвернул края и, придавив сверху другой книгой, стал отколупывать прилипший к мотку край скотча. Когда я наконец отковырнул его и стал разматывать, конец оборвался, и все пришлось начинать сначала.

Тут за спиной у меня открылась дверь. Это был Ингве.

– С чем ты там ковыряешься? – спросил он.

– Ты же видишь, учебники оборачиваю.

– А нас после тренировки угощали булочками и лимонадом, – сказал Ингве. – В помещении клуба. И там были девчонки. Одна даже очень ничего.

– Девчонки? – спросил я. – Разве им можно?

– А кто сказал, что нельзя? И Карл Фредрик очень клевый.

В открытое окно донеслись голоса и шаги, поднимавшиеся в гору. Я приклеил конец скотча, прилипший к мизинцу, на бумагу и подошел посмотреть, кто идет.

Гейр и Лейф Туре. Они остановились у ворот Лейфа Туре и над чем-то хохотали. Потом они попрощались, и Гейр забежал через двор к дому. Когда он свернул на свою дорожку и я смог наконец увидеть его лицо, он еще улыбался, одной рукой он что-то прятал в кармане.

Я обернулся к Ингве:

– Где играть будешь?

– Не знаю. Наверное, в защите.

– А какие у них цвета?

– Синий с белым.

– Совсем как в «Трауме»?

– Почти такие же.

– Идите ужинать, – позвал из кухни папа.

Когда мы вошли, на столе для нас уже стояло по стакану молока и тарелке с тремя бутербродами. С пряным сыром, коричневым сыром и джемом. Папа с мамой сидели в гостиной и смотрели телевизор. Дорога за окном уже стала серой, как и ветки придорожных деревьев, но небо над деревьями по ту сторону пролива все еще оставалось голубым и ясным, словно оно раскинулось над каким-то другим миром, непохожим на тот, где пребывали мы.

* * *

Наутро я проснулся оттого, что открылась дверь, на пороге стоял папа.

– Вставай, лежебока! – сказал он. – Солнышко светит, птички поют!

Я откинул одеяло и спустил ноги с кровати. Если не считать папиных шагов, замиравших в конце коридора, в доме стояла тишина. Был вторник. Мама спозаранку ушла на работу. Ингве шел в школу к первому уроку, а папе надо было только ко второму.

Я подошел к шкафу, выбрал из стопки одежды белую рубашку, самую нарядную, и синие вельветовые штаны. Но нет, рубашка, пожалуй, чересчур праздничная, подумал я, он сразу обратит внимание и может спросить, с чего это я так вырядился, а не то заставит переодеться в другую. Лучше надеть белую адидасовскую майку.

Захватив одежду под мышку, я пошел в ванную. На мое счастье, Ингве не забыл оставить мне в раковине воду. Я запер дверь на задвижку. Поднял крышку унитаза и помочился. Моча была зеленовато-желтая, не темно-желтая, как иногда с утра. Хотя я старательно следил, чтобы все капли, которые я стряхнул, попали в унитаз, несколько все же пролетели мимо и лежали на серо-голубом линолеуме прозрачными пузырьками. Я вытер их клочком туалетной бумаги, бросил его в унитаз и слил воду. Под шум спускаемой воды я встал над умывальником. Вода в нем была чуть зеленоватого цвета. В ней плавали какие-то мелкие, почти невидимые хлопья

непонятно чего. Сложив ладони пригоршней, я зачерпнул воды, вытянул голову над раковиной и плеснул водой себе в лицо. Вода была чуть холоднее тела, и, когда она коснулась кожи, по спине пробежал холодок. Намылив руки, я, зажмурившись, торопливо потер себя ладонями по лицу, ополоснул его, вытер лицо и руки желто-коричневым махровым полотенцем, которое висело на моем крючке.

Готово!

Раздвинув занавески, я посмотрел в окно. Деревья в лесу, над которым только что поднялось солнце, отбрасывали на сверкавший под его лучами асфальт густую черную тень. Потом я оделся и вышел на кухню.

Перед моим местом стояла глубокая тарелка с кукурузными хлопьями, рядом стоял пакет молока. Папы в кухне не было.

Может быть, он у себя в кабинете, собирается?

Нет. По звукам из гостиной я понял, что он там.

Я сел за стол и полил хлопья молоком. Зачерпнул ложкой и поднес ее ко рту.

Черт!

Молоко скисло, от его вкуса, заполнившего весь рот, из груди поднялась рвота. Я проглотил все, потому что в этот момент в кухню вошел папа. Ступив на порог, он подошел к рабочему столу и оперся на него. Он смотрел на меня и улыбался. Я снова зачерпнул ложкой хлопьев, поднес ко рту. При одной мысли об их вкусе у меня сводило желудок. Я выдохнул и, стараясь не дышать носом, проглотил все, почти не жуя.

Черт!

Судя по его виду, уходить папа не собирался, поэтому я продолжал есть. Если бы он отправился вниз, в свой кабинет, я мог бы выкинуть хлопья в мусорное ведро и прикрыть другим мусором, но пока он находился в кухне или где-то еще на втором этаже, об этом нечего было и думать.

Через некоторое время он открыл шкаф, достал такую же тарелку, как у меня, вынул из ящика ложку и сел за стол с другой стороны.

Этого он никогда раньше не делал.

– Возьму-ка и я немножко, – сказал он, высыпал золотистых, сухих хлопьев из картонки с желто-зеленым петухом, потянулся за молоком.

Я перестал есть, понимая, что надвигается катастрофа.

Папа опустил ложку в миску, зачерпнул ею хлопьев с молоком и, полную до краев, поднес ко рту. Едва еда оказалась у него во рту, как лицо его искривилось в гримасе. Даже не начав жевать, он выплюнул все обратно в тарелку.

– Тьфу! – произнес он. – А молоко-то совсем прокисло! Ну и гадость!

Затем он взглянул на меня. Этот взгляд я запомню на всю оставшуюся жизнь. Взгляд был не гневный, как я ожидал, а удивленный, как будто он увидел что-то не поддающееся пониманию. Он посмотрел на меня так, будто увидел в первый раз.

– Неужели ты ел хлопья с прокисшим молоком? – спросил он.

Я кивнул.

– Но зачем! – сказал он. – Можно же налить свежего!

Он встал, потряс пакет, с размаху вылил прокисшее молоко в раковину и достал из холодильника новую упаковку.

– Вот. Смотри, – сказал он, забрал со стола мою тарелку, смыл ее содержимое в раковину, несколько раз протер щеткой, снова ополоснул и поставил передо мной на стол.

– Так-то, – сказал он. – А теперь положи себе свежих хлопьев и налей свежего молока. Договорились?

– Да, – сказал я.

Он проделал то же самое со своей тарелкой, и затем мы оба в молчании доели свой завтрак.

* * *

В те дни в школе все было для меня ново, но дни эти проходили по одному и тому же сценарию, и мы так к нему привыкли, что спустя несколько недель нас уже ничто не могло удивить. Что бы ни говорилось нам с кафедры, было истиной, и тот факт, что говорилось оно оттуда, делал истиной самые невероятные вещи. Что Иисус ходил по воде – истина. Что Бог предстал перед Моисеем в виде горящего куста – истина. Что болезни происходят из-за каких-то крошечных существ, которых невозможно различить глазом, – истина... Что все предметы, включая нас самих, состоят из маленьких-премаленьких частиц, еще меньше, чем бактерии, – истина. Что деревья питаются солнечным светом – истина. И так мы воспринимали не только то, что учителя говорили, точно так же мы относились ко всему, что они делали. Среди них было немало старых, родившихся до или во время Первой мировой войны и работавших в школе с тридцатых или сороковых годов. Седовласые, одетые в строгие костюмы, они никак не могли запомнить, как нас зовут, а премудрость, которую они нам втолковывали, до нас не доходила. Один из них, по фамилии Томмесен, раз в неделю во время большой перемены читал нам вслух книгу, уткнувшись носом в страницы, голос у него был с гнусавинкой, лицо – желтовато-бледное, а губы сизые. В книге речь шла о женщине, жившей в безлюдной местности, больше мы ничего из нее не поняли, и эти минуты, которые он сам, вероятно, считал приятным для нас времяпрепровождением, казались нам сущим наказанием и мучением, потому что приходилось тихо сидеть, слушая, как он, сипя и кашляя, талдычит что-то невразумительное.

Другой учитель лет пятидесяти, по фамилии Мюклебуст, родом откуда-то из Вестланна, жил на острове Хисёйя и насаждал у нас железную дисциплину. К нему на урок полагалось заходить строем, а войдя, каждому встать навтыжку возле парты; он окидывал нас долгим взглядом и, дождавшись полной тишины, приподнимался на цыпочки, кланялся и говорил: «Доброе утро, класс» или «Добрый день, класс», а мы на это отвечали тоже: «Доброе утро, учитель» или «Добрый день, учитель». Он был щедр на затрешины и сгоряча мог пихнуть так, что ученик отлетал к стене. Над теми, кого не любил, он часто насмехался. Уроки физкультуры выходили у него похожими на занятия по строевой подготовке. Было в школе и несколько учительниц его возраста, тоже строгих и официальных, окруженных особой аурой, непривычной, но вызывающей непререкаемый авторитет, а нередко и страх. Одна из них однажды оттаскала меня за волосы, когда я употребил нехорошее слово, но, как правило, они довольствовались замечаниями в дневнике, так как оставлять нас после занятий или заставлять приходиться в школу к нулевому уроку не было возможности из-за расписания школьного автобуса. Среди множества пожилых, проработавших там всю жизнь, попадались и учителя нового поколения, ровесники наших родителей, некоторые даже моложе. К их числу принадлежала и наша учительница Хельга Тургерсен. Она была, что называется «добрая», то есть не скандалила, когда кто-то нарушал порядок, никогда не злилась и не кричала, никого не била и не драла за волосы, а разрешала все конфликты с помощью беседы и убеждения, вела себя спокойно и ровно, не столько по-учительски, сколько по-человечески, – в том смысле, что держалась с классом так же, как с друзьями или дома с мужем, с которым они недавно поженились. И не только она, так вели себя все молодые учителя, и нам с ними очень нравилось. Директор школы Осмуннсен тоже был молодой, лет тридцати, высокий и крепкий, он носил бороду и чем-то напоминал папу, но его мы боялись, кажется, больше всех. Не потому, что он нам что-то сделает, а из-за самой его должности. Потому что того, кто сильно проштрафился, отправляли к нему в кабинет. Сам он ничего не преподавал, а лишь присутствовал в школе как некая тень, и это внушало еще больший трепет. К тому же Осмуннсен был легендарной личностью, чему

имелась особая причина. Год назад он нашел в море на восточном берегу острова, в каких-то нескольких метрах от прибрежных скал, корабль работорговцев, затонувший в 1768 году, – про находку писали во всех газетах и сообщали по телевизору. Директор Осмуннсен был аквалангистом и обнаружил его под водой, ныряя вместе с двумя другими аквалангистами. Мне при моем увлечении водолазами, которыми я восхищался больше всего кроме разве что парусных кораблей, он казался таким великим человеком, что замечательнее невозможно себе и представить. Директор-аквалангист – это почти как директор-астронавт. Мои рисунки были сплошь заполнены изображениями рыб, акул и затонувших кораблей. Посмотрев по телевизору какую-нибудь тогдашнюю передачу о живой природе, в которой показывали аквалангистов – на коралловом рифе или спускающихся в клетке к акулам, я потом неделями только этим и бредил. И вдруг он тут, наяву, – тот самый бородатый мужчина, который год назад вынырнул из моря со слоновьим бивнем в руках, найденным на одном из немногих чудом сохранившихся на дне старинных кораблей работорговцев!

Он зашел к нам в класс уже на второй день, рассказал немножко о школе и о правилах поведения школьников, а когда он ушел, фрекен Тургерсен пообещала, что скоро он придет к нам еще раз и расскажет, как обнаружил с товарищами затонувший корабль. Когда он пришел в наш класс, она встала перед окном, заложив руки за спину, и все время улыбалась. Точно так же она стояла, когда он явился во второй раз, две недели спустя. Я с восторгом ждал, что же он расскажет, но был несколько разочарован, когда услышал, что корабль лежал на глубине всего в несколько метров. Это сильно уменьшало в моих глазах величие его подвига: я-то думал, что глубина была метров сто и водолазам, перед тем как вынырнуть, приходилось делать остановки и ждать, держась за веревку, так что всплытие из-за страшного давления на глубине заняло не меньше часа. Черная тьма, пляшущие световые конусы от их фонарей, рядом, может быть, небольшая подводная лодка или водолазный колокол. Но чтобы вот так – на мелководье, прямо под ногами купающихся, куда может донырнуть любой мальчишка с лапами и маской! Впрочем, он показывал снимки с места находки, у них было все как полагается: водолазное судно, оно стояло на якоре среди залива, костюмы для дайвинга и тщательно проработанный план на основе старинных карт и документов.

Однажды папа тоже чуть не попал на телевидение, у него взяли интервью, все честь честью, что-то про политику, но когда мы сели смотреть новости, этот репортаж так и не показали, и на следующий день, когда мы опять собрались перед телевизором, тоже. Один раз он выступал на радио, давал интервью в связи с филателистической выставкой, но я об этом забыл, и, когда вернулся домой, передача уже прошла, и папа меня отругал.

Некоторые учителя в первое время без конца путали мое имя, они ведь были папиными сослуживцами и думали, что меня назвали в его честь, и мне нравилось, что они узнавали меня, знали, что я папин сын. С первого дня я старался в школе изо всех сил, мечтая, разумеется, стать первым учеником в классе, но кроме того, я надеялся, что меня похвалят и это дойдет до папиных ушей.

Мне нравилось ходить в школу. Нравилось все, что там делается, нравились школьные помещения.

Нравились наши стулья, низенькие и старенькие, с железными ножками, с деревянным сиденьем и спинкой, изрезанные ножиком и исписанные чернилами парты, доставшиеся нам в наследство от тех, кто сидел за ними раньше. Доска, кусочки мела и губка для стирания, нравились буквы, выращавшие из-под мелка нашей фрекен – *O, U, I, Å, Æ*, всегда белые, как и ее руки к тому времени, когда она заканчивала писать. Сухая, как порошок, губка, что темнела и набухала, как только фрекен намочит ее, опустив в раковину, приятное чувство, когда у тебя на глазах стирают все написанное, оставляя после себя мокрую полосу, которая, подержавшись несколько минут, высыхала, и доска снова становилась зеленой и чистой. Кармёйский выговор фрекен, ее большие очки и короткая стрижка, неизменный наряд – блузка и юбка, все то,

что она нам рассказывала и о чем задавала вопросы. Нам предстояло научиться слушать, не перебивать друг друга и не говорить, пока тебя не спросили, а поднять руку и ждать, когда учительница тебе кивнет. Первое время в классе поднимался целый лес рук, и каждая нетерпеливо махала, а кто-то еще и выкрикивал: «Я, я, я», так как трудных вопросов учительница не задавала, только такие, ответ на которые знали все. А еще нравились перемены – уж тут было столько всего интересного! Эти толпы детей, то собирающиеся кучками, то рассыпающиеся по одному, мгновенно вспыхивающая и тут же затухающая беготня. Ряд крючков в коридоре перед классом, куда мы вешали свои куртки, десятилетиями настоявшийся запах зеленого мыла, которым мыли полы, запах мочи из туалета, запах молока из молочного шкафа, запах двадцати разных бутербродов, когда все двадцать школьников одновременно разворачивают в классе свои завтраки. Дежурство по классу, когда каждую неделю одному из учеников поручалось раздавать учебные материалы, вытирать после урока доску, а на большой перемене приносить пакеты с молоком. Какое же чувство избранничества ты испытывал! И то особенное ощущение, когда все сидят в классах, а ты один идешь по безлюдному коридору, по обе стороны на крючках висят куртки, из классов слышится тихое бормотание. Линолеум под ногами отсвечивает и блестит, а если день солнечный, то в воздухе пляшут тысячи пылинок, точно Млечный Путь в миниатюре. И как менялось настроение по всему коридору, если вдруг запахнется какая-нибудь дверь, и из нее выскочит другой мальчик: в один миг все сосредоточивалось вокруг него, словно он тут главный, все запахи, все пылинки, весь свет, все куртки и все бормотание, – он влетал как комета, вбирающая весь космический мусор, попадающийся на ее пути, в свой длинный хвост, бледно светящийся на фоне яркого ядра. Мне нравилось, дождавшись, когда в дверь звонил Гейр, трусить с ним к супермаркету, нравилось, соревнуясь с другими, приходить пораньше, чтобы поставить ранец как можно ближе к началу очереди и потом занять лучшие места в автобусе. Нравилось стоять и ждать перед магазином, глядя, как на остановку со всех концов стекаются дети. Некоторые жили в поселках на самом верху, над магазином, другие приходили снизу, из Гамле-Тюбаккена, кто-то – из долины за горой. Особенно любил я смотреть на Анну Лисбет. У нее были черные блестящие волосы, черные глаза и большой алый рот. Она вечно была такая веселая, много смеялась, а ее темные глаза так и сверкали, искрясь переполняющей ее радостью. Ее рыжую подружку звали Сульвей, они жили в соседних домах и всегда ходили парой, точно как мы с Гейром. У Сульвей лицо было бледное и все в веснушках, разговаривала она мало, но глаза смотрели ласково. Обе жили в верхней части поселка в Тюбаккене, я доходил до него всего несколько раз и никого там не знал. У Анны Лисбет, как она сама рассказывала о себе перед классом, была сестра, годом младше, и еще братишка, младше ее на четыре года. По соседству с ней жил еще один мальчик из нашего класса, Вемунн – толстый и неуклюжий, и не слишком сообразительный, он бегал медленнее всех, был слабосильным, мяч бросал по-девчачьи, в футбол играл плохо, читать не умел, зато любил рисовать и вообще делать то, чем можно заниматься, не выходя из дома. Мать у него была рослая, крепкая и энергичная женщина с сердитыми глазами и громким, резким голосом. Отец – худой и бледный – ходил на костылях, у него была какая-то мышечная болезнь и вдобавок какие-то кровотечения. Вемунн произносил это слово с гордостью. «Как это – кровотечения?» – спросил кто-то из класса. «Это когда кровь не останавливается, – сказал Вемунн. – Если папа поранится и у него пойдет кровь, то сама никогда не остановится, будет течь и течь, пока папа не примет лекарство, или надо ехать в больницу, иначе он умрет».

В той части поселка, где жили Анна Лисбет, Сульвей и Вемунн, было много детей нашего возраста, на год-два постарше или помладше нас, и, когда мы все пошли в школу, они внешне стали частью нашего мира. То же самое и дети из других соседних поселков, где тоже жили наши одноклассники. Перед нами словно раздвинулся занавес, и то, что нам представлялось всей сценой, оказалось лишь ее малой частью, просцениумом. Так, например, дом на уступе горы с хорошо видимым сверху совершенно ровным садиком, словно балансирующим

на краю белого пятиметрового утеса, вдоль которого шла ограда из зеленой металлической сетки, стал для нас теперь не просто домом, а домом Сив Юханнесен. В пятидесяти метрах от него, за густым лесом, кончалась дорога, вдоль которой стояли дома, где жили Сверре, Гейр Б. и Эйвинн. Прямо под нами, но в другом поселке, то есть уже в другом мире, жили Кристин Тамара, Мариан и Асгейр.

У каждого имелись свой дом, свои друзья, и все это открылось нам за пару первых недель осени. Столько нового и в то же время знакомого! Ведь мы все жили одинаковой жизнью, были похожи и оттого легко понимали друг друга. В то же время в каждом имелось что-то особенное. Сёльви, к примеру, была так застенчива, что почти не разговаривала. Унни помогала маме и папе по субботам торговать на рынке зеленью со своего огорода. Отец Вемунна ходил на костылях. Кристин Тамара носила очки, у которых одно стеклышко было заклеено. Гейр Хокон, такой, казалось бы, отчаянный, терялся и сжимался от смущения, когда его вызывали к доске. Даг Магне все время ухмылялся. Гейра, как только тот родился, на всякий случай соборовали; все думали, что он не жилец. От Асгейра всегда пахло мочой. Марианна была сильная, как мальчишка. Эйвинн умел читать и писать и хорошо играл в футбол. Трунн был маленький и шустрый. Сульвей хорошо рисовала. У Анны Лисбет папа был водолазом. А столько дядьев, сколько у Юнна, не было больше ни у кого.

* * *

Как-то раз, когда после трех уроков в школе автобус в двенадцать часов привез нас к супермаркету, мы с Гейром отправились провожать Юнна до дома. Сияло солнце, небо было голубое, дорога – сухая и пыльная. Когда мы пришли к дому, где жил Юнн, он предложил нам зайти выпить сока. Мы согласились. Мы зашли с ним на веранду, сняли ранцы и уселись на расставленные там пластиковые стулья. Он открыл дверь в дом и крикнул:

– Мама, мы хотим соку! Со мной пришли ребята из нашего класса.

Его мама показалась на пороге. Она была в белом бикини, загорелая, с длинными русыми волосами. И в солнечных очках на пол-лица.

– Как славно, – сказала она. – Пойду посмотрю, что там осталось.

Она прошла через гостиную и скрылась на кухне. Гостиная показалась мне пустоватой. Она напоминала нашу, только мебели поменьше и ни одной картины на стенах. Мимо по дороге шли две девочки из нашего класса, Юнн высунулся за перила и крикнул им, что они как обезьяны. Мы с Гейром захохотали.

Девочки спокойно продолжили свой путь, делая вид, что не обращают внимания. Марианна была ростом выше всех мальчиков, с высоким лбом, высокими скулами и длинными прямыми светлыми волосами, они, как гардины, занавешивали ей лицо. Иногда от возмущения или огорчения она морщила лоб, и мне нравилось выражение, которое появлялось у нее в глазах в такие минуты. Иногда она злилась и так давала сдачи, как не умела ни одна из девочек.

Мама Юнна снова появилась с подносом, на котором стояло три стакана и кувшин с соком. Поставив перед каждым из нас по стакану, она налила каждому до краев. Сверху среди красного сока густо плавали кусочки льда. Когда она выходила, я проводил ее взглядом. Она не была особенно красивой, но что-то в ней привлекало внимание и заставляло смотреть вслед.

– Никак на мамину задницу загляделся? – спросил Юнн и заржал.

Я не понял, что он такое говорит. С какой стати мне было смотреть на попу его мамы? К тому же мне стало ужасно неудобно: он сказал это так громко, что она, конечно, тоже услышала.

– А вот и нет! – ответил я.

Юнн опять захохотал.

– Мама! – крикнул он. – Выйди на минутку!

Она вышла на веранду, все так же в бикини.

– Карл Уве загляделся на твою попу! – сказал Юнн.

Она хлопнула его ладонью по щеке.

Юнн продолжал хохотать. Я взглянул на Гейра, он смотрел в пространство и насвистывал. Мама Юнна ушла. Я опорожнил стакан одним духом.

– Хотите посмотреть мою комнату? – спросил Юнн.

Мы кивнули и пошли за ним через темную гостиную к нему в комнату. На одной стене там висел постер с мотоциклом, на другой почти совсем голая женщина, вся оранжевая от загара.

– «Кавасаки семьсот пятьдесят», – сообщил Юнн. – Хотите еще соку?

– Я вроде напился, – сказал я. – Мне пора домой обедать.

– Мне тоже, – сказал Гейр.

Когда мы вышли, на нас зарычала собака. Мы пошли вниз по склону, не говоря ни слова. Юнн помахал нам с веранды. Гейр помахал в ответ.

Почему он подумал, что я смотрю на задницу его мамы? Разве в заднице есть что-то особенное, чего я не знаю? Почему он так крикнул? Почему хотел, чтобы она это слышала? Почему она его хлопнула по щеке? И почему, интересно знать, он потом продолжал хохотать? Как можно хохотать после того, как мама влепила тебе оплеуху? Да и вообще, когда кто-то кого-то ударил?

Глядя на его маму, я ощущал смутное чувство вины, потому что она была почти голая, но ведь не на попу же я смотрел, с какой стати мне было на нее смотреть?

Тогда я побывал у Юнна в первый и последний раз. С ним мы играли в футбол, ходили купаться, но домой в гости к нему никто не ходил. Все его немного побаивались. И хотя мы говорили, что он только строит из себя крутого парня, а на самом деле никакой не крутой, но в душе понимали, что Юнн такой и есть. Он прибил к компании ребят из классов постарше, единственный из нас участвовал в драках, вступал в пререкания с учителями и отказывался выполнять, что они скажут. С утра он ходил невыспавшийся, потому что ему разрешалось ложиться когда захочет, а когда он, как и все мы, рассказывал какие-то вещи из своей домашней жизни, то получалось, что у них всегда живет тот или иной дядя. Ни он, ни мы не спрашивали, что это за дяди, да и зачем нам было спрашивать? Просто у Юнна было больше дядьев, чем у кого-либо еще, вот и все.

* * *

Вскоре после этого, в начале сентября, когда еще стояло и никак не хотело уходить затянувшееся лето, пыльное и жаркое, с таким синим небом, что первые опадающие листья, уже закружившиеся в воздухе, выглядели даже противоестественно и теплый ветерок не мог охладить блестящие от пота лица людей, – мы с Гейром, однажды в субботу, гуляя по поселку, шли вверх по склону. У каждого при себе был пакет с бутербродами и бутылка сока. Мы собирались пройтись по дороге, что, как мы знали, отходила влево и вела через низину, – это было примерно там, где после длинного прямого и ровного отрезка шоссе начинается тропинка к «Фине». По пути нам нужно было пересечь чужой участок, о котором мы знали только то, что на хозяина лучше не нарываться, потому что весной, когда мы с ребятами однажды в воскресенье играли в футбол на лугу с самого края его участка, ограниченного с одной стороны выступающей скалой, а с другой – ручьем, он через полчаса выскочил из дома и, быстрым шагом направившись к нам, еще издалека стал ругаться и грозить кулаком, а мы так и бросились от него врассыпную. Но сейчас играть в футбол мы не собирались, а только хотели пройти через его участок вдоль ручья к тропинке, точнее, дорожке, посыпанной мелкими, плоскими, в основном белыми камешками. Там оказалась калитка, мы ее толкнули и очутились в месте, в котором раньше еще никогда не бывали. Дорожка лежала в густой тени, по обе стороны ее стояли высокие деревья, мы шли по ней как будто в туннеле. Пройдя немного, мы подошли

к повороту, и тут увидели блестящую на солнце белую скалу. Отсюда, по-видимому, брались белые камешки у нас под ногами. Скала не выглядела выщербленной и полуразрушенной, как бывает после взрывных работ с пористыми породами, и не была округлой, как «бараньи лбы» на море или попадающиеся тут и там в лесу на горных склонах голые валуны, нет, эта скала была ровная и гладкая, почти как стекло, и состояла из нескольких косых пластов. Неужели мы наткнулись на жилу драгоценного камня? По виду похоже. Однако мы понимали: скала находилась слишком близко от поселка, так что вряд ли мы обнаружили что-то такое, о чем никто не знал раньше, но все равно набрали полные пакеты камней. Затем стали спускаться дальше. Ручей бежал рядом с дорожкой. Наверху его русло проходило в глубокой, как ущелье, расщелине, внизу, ближе к подножию, он журча ниспадал ступенчатым каскадом. В одном месте, где он тек почти вровень с дорожкой, мы попробовали построить запруду. Натаскали камней, законопатили просветы между камнями мхом и через полчаса добились того, что вода начала затоплять дорожку. И вдруг раздались выстрелы. Мы переглянулись. И тут же похватили свои пакеты и бегом припустили вниз. Стрельба! Может быть, охотники? Через пару сотен метров дорожка стала пологой. Теперь она лежала в густо-зеленой тени от больших елей, высившихся тесными рядами по обе стороны. Метрах в ста впереди показалась асфальтированная дорога, мы остановились, потому что выстрелы стали звучать отчетливее и приближались к нам слева. Мы зашли за деревья, ступая по мягкому ковру из черничника, вереска и мха, поднялись немного на невысокий пригорок, и перед нами, метрах в двадцати, открылась внизу озаренная солнцем площадка с разбросанным мусором.

Мусорная свалка!

Мусорная свалка в лесу!

Над дальним краем свалки летали чайки. Они кричали и кружили над нею, как над морем. От запаха, сладковатого и в то же время резкого, защипало в носу. Затем снова раздались выстрелы. Негромкие, скорее похожие на сухое потрескивание. Мы медленно спустились на край свалки и оттуда, в нескольких шагах от себя, увидели двух мужчин. Один стоял возле брошенного автомобиля, другой лежал рядом на земле. У обоих в руках были ружья, нацеленные в сторону свалки. Каждые несколько секунд раздавался выстрел. Потом лежавший встал, и оба направились к свалке. Мы пошли туда, где только что были они. Между кучами мусора, громоздящимися, как гряды холмов, вела тропинка, по которой они сейчас двигались. Оба были одеты как настоящие охотники, оба в сапогах и рукавицах. Взрослые, но не старые. Вокруг них я видел сломанные автомобили, холодильники, морозилки, телевизоры, гардеробы и комоды. Видел диваны, кресла, столы и торшеры. Видел лыжи и велосипеды, удочки, люстры, автомобильные покрышки, картонные коробки и деревянные ящики, пластиковые лотки и огромные кучи битком набитых пластиковых мешков. Перед нами простиралось поле выброшенных вещей. В основном этот ландшафт состоял из мешков с пищевыми отходами и упаковочного материала – того, что ежедневно выносятся в мусорных бачках из каждого дома, но в той части свалки, возле которой мы остановились и по которой ходили мужчины с ружьями, занимавшей примерно пятую часть всей площади, были составлены крупные предметы.

– Они стреляют в крыс, – сказал Гейр. – Смотри!

Стрелки остановились. Один поднял за хвост крысу. У нее, кажется, весь бок был расквашен. Он крутанул ею несколько раз над головой и запустил в воздух, так что она пролетела над свалкой и, приземлившись на скользких мешках, провалилась между ними на землю. Они захохотали. Другой стрелок поддел вторую дохлую крысу сапогом и поддал ногой.

Мужчины пошли обратно. Щурясь на яркое солнце, они кивнули нам. Оба были похожи как братья.

– Вышли на экскурсию, ребята? – спросил один.

У него из-под синей кепки с длинным козырьком торчали рыжие курчавые волосы, лицо было круглое, губы толстые, над ними – здоровенные усищи.

Мы кивнули.

– Экскурсия на мусорную свалку? Так это называется? – сказал другой. Не считая белокурых, почти белых волос и отсутствия усов, он был полной копией своего товарища. – Что, решили закусить на вершине мусорной горы?

Они засмеялись. Мы тоже немножко посмеялись.

– Хотите посмотреть, как мы будем стрелять крыс? – спросил первый.

– Было бы здорово, – сказал Гейр.

– Тогда встаньте у нас за спиной. Это важно. Понятно? И стойте смирно, чтобы не мешать нам.

Мы кивнули.

На этот раз оба легли на землю и долгое время лежали неподвижно. Я старался разглядеть, что они видят. Но только когда грянули выстрелы, я заметил крысу, ее так и подбросило и словно сдуло с места мощным порывом ветра.

Они поднялись.

– Пойдете с нами смотреть? – спросил один.

– Смотреть особенно не на что, – сказал другой. – Подумаешь – дохлая крыса!

– Я хочу посмотреть, – сказал Гейр.

– Я тоже, – сказал я.

Но крыса была еще жива и корчилась на земле. Ей снесло выстрелом почти полтуловища. Один из мужчин сильно стукнул ее прикладом по голове, послышался глухой удар, что-то треснуло, и крыса затихла. Стрелок озабоченно посмотрел на приклад.

– Ну, зачем я это сделал! – сказал он.

– Наверное, решил показать, какой ты крутой, – сказал другой. – Давай пошли уже. Вытрешь его возле машины.

Они вышли «на берег» свалки, мы поплелись за ними.

– А ваши родители знают, что вы тут гуляете? – спросил один.

– Да, – сказал я.

– Ну и хорошо, – сказал он. – Надеюсь, они вам сказали, что отсюда нельзя ничего уносить? А то тут до черта микробов и всякой дряни.

– Да, – сказал я.

– Вот и прекрасно. Пока, ребята!

Через несколько минут внизу на дороге тронулась машина, и мы остались одни. Сначала мы просто бегали по свалке, разглядывали вещи, вытряхивали мешки, переворачивали шкафы, чтобы посмотреть, не лежит ли под ними что-нибудь интересное, громко оповещая друг друга о том, что мы нашли. Моей лучшей находкой был пакет с почти новыми комиксами, там оказался «Темпо» и «Бастер», один «Текс Уиллерс» карманного формата и еще несколько узких и длинных выпусков ковбойских комиксов шестидесятых годов. Гейр нашел плоский фонарик, маленькую вышивку с оленем и два колеса от детской коляски. Когда поиски нам надоели, мы уселись со своими находками над свалкой в зарослях вереска и принялись есть принесенные с собой бутерброды.

Гейр скомкал оберточную бумагу и забросил куда подальше. Наверное, он хотел запустить ее в середину свалки, но тут как раз налетел порыв ветра, и она даже не долетела до края, а упала среди вереска.

– Посрать, что ли, а? – сказал Гейр.

– Давай! – сказал я. – А где?

– Не знаю, – сказал он, пожимая плечами.

Мы походили по лесу в поисках подходящего места. Садиться по-большому на свалке было как-то нехорошо; как ни странно, мне почудилось в этом что-то неприличное, свинское, хотя кругом, казалось бы, валялись одни отбросы. Но отбросы состояли из блестящих пласти-

ковых пакетов и картонок, отслужившего текстиля и газетных пачек. Все мягкое и мокрое было упаковано в мусорные мешки. Так что за этим делом надо было идти в лес.

– Смотри, какое дерево! – сказал Гейр.

В десяти метрах впереди лежала поваленная сосна. Мы залезли на ствол, спустили штаны и, держась каждый за свою ветку, устроились на нем, свесив зад. Гейр мотнул задницей в тот самый момент, когда из него вылезла какашка, и та отлетела в сторону.

– Видал! – сказал Гейр и засмеялся.

– Ха-ха-ха! – подхватил я, стараясь, чтобы моя легла, наоборот, точно вниз, как бомба из бомбардировщика на город. Это было великолепное ощущение – видеть, как она высовывается все дальше и дальше, еле держится и наконец, оторвавшись, шлепается на землю.

У меня была привычка терпеть иногда целый день, чтобы она вышла потом побольше, и потому что это вообще доставляло удовольствие. Когда мне уже так сильно хотелось в туалет, что трудно было стоять прямо и я сгибался пополам, я все равно терпел и удерживался, напряжением мышц загоняя какашку обратно, отчего все тело охватывало удивительное приятное ощущение. Но это была опасная игра, потому что, если проделывать так много раз, какашка становилась такой толстой, что ее не выпихнуть. Какая же это чертовская боль – когда такая гигантская из тебя лезет! Прямо-таки нестерпимая, эта боль переполняла меня, прямо взрыв боли. О-о-о-ой! И тут, когда она доходила до полного кошмара, какашка вдруг выскакивала.

О-о, как же это было чудесно!

Какое меня при этом переполняло невероятное ощущение!

Боль прошла.

Какашка в унитазе.

Меня охватывал покой и блаженство. Такое блаженство, что мне не хотелось вставать и подтираться. Так, кажется, сидел бы и сидел.

Но стоило ли оно того?

Случалось, что перед таким великим облегчением я иногда целый день мучился страхом. Я не хотел идти в туалет, потому что будет так больно, но если не сделать этого, то будет все больней и больней.

Но все равно надо было идти и садиться, зная, что вот сейчас будет такая дьявольская боль!

Однажды я от страха дошел до того, что решил попробовать другой способ избавиться от какашки. Я привстал и засунул себе в задницу палец, насколько это было возможно. Вот она! Тут сидит. Твердая, как камень! Нащупав ее, я начал ковырять пальцем, чтобы расширить ей проход. Одновременно я тужился, и таким образом, потихоньку-полегоньку, выдавил какашку к самому краю. Выдавить ее окончательно все равно было больно, но не настолько.

Я нашел способ!

Ничего, что палец стал весь коричневый, его прекрасно можно отмыть. Что было хуже, так это запах! Сколько я ни тер его и ни скреб, от пальца потом целый день и всю ночь попахивало дерьмом, и даже еще наутро я, проснувшись, ощутил этот запах.

Так что все плюсы и минусы нового метода следовало хорошенько взвесить.

* * *

Когда мы с Гейром закончили свои дела, мы подтерлись листьями папоротника и пошли посмотреть результаты. Мой получился с легким зеленоватым отеком и такой жидкий, что уже немного растекся по земле. А у Гейра – светло-коричневый, с черным кончиком, который был потолще и потверже.

– Правда же странно, – сказал я, – что мое хорошо пахнет, а твое воняет?

– Наоборот, это твое – вонючее! – сказал Гейр.

– Ничего оно не воняет, – сказал я.

– Фу-у, гадость, – сказал он и зажал нос пальцами, копаясь в моем дерьме прутиком.

Над ними кружились мухи. У них тоже был зеленоватый оттенок.

– Да ну тебя, – сказал я. – Пошли, что ли? Придем в следующую субботу проверим, что с ними стало, ладно?

– В субботу я уеду, – сказал он.

– Куда?

– В Рисёр, – сказал он. – Мы вроде поедем смотреть лодку.

Мы сбегали за своими вещами и отправились домой. Гейр с двумя колесами в обеих руках, я – с пакетом, набитым комиксами. Я взял с него слово, что он не скажет дома, где мы были. Я догадывался, что если дома узнают, то запретят нам туда ходить. Сам я придумал такое объяснение, будто я взял почитать комиксы у некоего Йорна, а папе, если он спросит, скажу, что Йорн живет далеко от нас, в другом поселке.

Войдя в прихожую, я сначала постоял прислушиваясь. Не услышав ничего необычного, нагнулся, чтобы развязать шнурки на ботинках.

В комнате скрипнула внутренняя дверь. Я снял один ботинок и поставил его к стенке. Открылась дверь в прихожую, и передо мной вырос папа.

Я поставил на место второй ботинок и выпрямился.

– Где ты был? – спросил папа.

– В лесу.

Тут я вспомнил придуманное заранее объяснение и, опустив глаза, прибавил:

– А потом на горе.

– Что у тебя в пакете?

– Комиксы.

– Где ты их взял?

– Мне дал почитать один мальчик, Йорн. Он живет наверху.

– Покажи, – сказал папа.

Я протянул ему пакет, он заглянул туда и вынул «Текса Уиллера».

– Возьму почитаю, – сказал он и ушел к себе в кабинет.

Я направился в коридор и стал подниматься по лестнице. Тут он окликнул меня.

Неужели он все понял? Вдруг от книжки пахнет помойкой?

Я повернул назад и стал спускаться на подгибающихся ногах.

Он стоял на пороге в дверном проеме.

– Я не выдал тебе карманные деньги на эту неделю, – сказал он. – Ингве свои уже получил. – Вот тебе.

Он дал мне пять крон.

– Ой, большое спасибо, – сказал я.

– Но «Б-Макс» уже закрыт, – сообщил он. – Если хочешь сладостей, придется идти на «Фину».

* * *

До «Фины» было далеко. Сперва длинный холм, затем длинная низина, потом длинная дорога вниз через лес до песчаного склона, спускавшегося к шоссе, где и находилась эта заправка – чудесная «Фина», прибежище всяческого соблазна и зла. Холм и низина не представляли проблем, там было полно домов и автомобилей и по обе стороны много людей. С дорожкой было хуже; пройдя несколько метров, ты оказывался в глухом лесу, где не было ни людей и ничего созданного человеческими руками. Только сплошная листва, кусты, древесные стволы, цветы, иногда встречалось болотце, оголенный лесорубами холм да местами – полянки.

Проходя этой дорожкой, я что-нибудь пел. «Летела пташка сизая», «Спал в берлоге медведь», «По белу свету я бродил». С песней я чувствовал себя уже не так одиноко, хотя рядом никого не было. Песня была все равно что еще один мальчик. А когда я не пел, то разговаривал сам с собой. «Интересно бы знать, живет там кто-то за холмом или нет, – говорил я. – Или все только лес да лес без конца. Нет, так не бывает. Раз мы живем на острове, значит, там начинается море. Может быть, прямо сейчас там плывет датский паром. Куплю себе леденцов – лакричных «Нокс» и лимонных «Фокс». «Нокс» и «Фокс». «Фокс» и «Нокс». «Нокс» и «Фокс». «Фокс» и «Нокс». «Нокс» и «Фокс».

Справа под кронами деревьев открылось подобие зала. Деревья были широколиственные, высокие, и их ветви образовывали такую густую крышу, что на земле под ними почти ничего не росло.

Вскоре я вышел на проселочную дорогу и пошел по ней мимо старых белых домиков и старых красных сараев для сена, снизу доносился шум проезжающих по шоссе автомобилей, и когда я дошел до него, впереди в пятидесяти метрах от меня предстала заправочная станция во всем своем великолепии.

Четыре колонки, как всегда, приветствовали меня, взяв под козырек раздаточными пистолетами. Большая белая вывеска со словом «Фина», выведенным синими буквами, светилась бледным пятном на высоком столбе. Перед заправкой стоял грузовик с прицепом, шофер сидел в кабине, вывесив локоть в открытое окно, и, глядя сверху, беседовал с человеком, который стоял на земле. Перед киоском было припарковано три мопеда. Перед одной из колонок остановилась машина, из нее вышел человек, задний карман у него оттопыривал засунутый туда бумажник, он взял раздаточный пистолет и вставил в свой бак. Я подошел и встал рядом. Насос загудел, на экране, который я воспринимал как лицо, запрыгали цифры. Казалось, он мигает со страшной скоростью. Пока работал насос, человек даже не глядел в его сторону. То, что он не следит за табло, служило, как я считал, знаком большой уверенности. Сразу видно, человек знает, что делает.

Я направился к киоску и отворил дверь. Сердце забило сильнее – никогда не знаешь, что тебя ждет внутри. Не вздумает ли кто-нибудь заговорить с тобой? Начнет подсмеиваться, и все кругом засмеются?

– А вот и младший Кнауслор, – начинал иногда кто-то. – А где же твой папаша? Сидит дома и проверяет тетради?

Здесьние завсегдатаи учились в школе средней ступени, носили джинсовые, а то и кожаные куртки, зачастую с нашитыми логотипами. «Понтиак», или «Феррари», или «Мустанг». У некоторых на шее был повязан платок. У всех волосы падали на глаза, и они встряхивали головой, чтобы убрать их со лба. На улице они то и дело плевались и пили колу. Почти все курили, несмотря на запрет. Некоторые насыпали арахис прямо в бутылку, чтобы одновременно есть и пить. У младших были велосипеды, у старших – мопеды, а иногда к ним присоединялись ребята постарше. У этих уже были свои машины.

Тут располагалась обитель греха. Мопеды, длинные волосы, курево, прогулы, азартные игры: все, что творилось на заправке, было сплошной грех.

Их хохот, который всегда встречал меня здесь, как только они узнавали, что я – Кнауслор-младший, был для меня чем-то ужасным. Я же не мог им ответить, а мог только, вобрав голову в плечи, бежать к прилавку, чтобы как можно скорей сделать задуманные покупки.

– Кнауслор-младший трусил! – кричали они мне вслед под настроение, потому что с таким же успехом могли просто не обратить внимания. Тут никогда не угадаешь заранее.

На этот раз они меня задирать не стали. Трое из них стояли у игрового автомата, четверо сидели за столом, попивая колу из бутылок, да еще за столиком в глубине зала хихикали три девчонки с покрашенными физиономиями.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.